

①

1911年12月

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

основана
М. ГОРЬКИМ

МАЛАЯ СЕРИЯ
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

ленинград

1 9 5 3

А.Н. РАДИЩЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

советский
писатель

*Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
Г. Макогоненко*



ПОЭЗИЯ АЛЕКСАНДРА РАДИЩЕВА

Радищевым открывается новая эпоха в развитии общественной мысли в России. Человек энциклопедической образованности, смелый мыслитель, свободолюбец и революционер, верящий в творческие силы и будущее своего народа, Радищев за тридцать лет своей общественно-литературной деятельности оставил огромный след в русской культуре. Философ и социолог, политик и писатель, поэт и критик, историк и законовед, он всегда выступал как новатор, как идеолог нового типа. Его колоссальная фигура воплощает в себе итог блистательного исторического и общественного развития русского XVIII века. Он заложил первые камни в фундамент великого здания русской освободительной мысли.

Особо важны заслуги Радищева перед литературой. В лице Радищева русский народ выдвинул писателя и мыслителя такого огромного масштаба, который оказался способным самостоятельно изучить и осмыслить опыт событий не только русской, но и мировой истории. При этом революционная борьба народов мира всегда и неизменно обобщалась с позиций практических потребностей русского освободительного движения. Это позволило Радищеву выступить с идеей народной

революции как единственного пути разрушения самодержавно-крепостнического государства и завоевания свободы. Революционные произведения Радищева свидетельствуют об оформлении в России самостоятельной и самой передовой в мире политической мысли. В эпоху, когда наиболее прогрессивными идеями были идеи французского просвещения, проповедовавшего мирный путь социальных преобразований, революционная теория Радищева, русская демократическая культура приобретали всемирно-исторический характер.

Как указывает И. В. Сталин, Радищев своей деятельностью навечно связал себя с революционной Россией.¹

Это положение И. В. Сталина раскрывает широкие, ясные перспективы изучения национальной специфики русской культуры, понимания русской классической литературы. Оно в то же время свидетельствует, что весь грандиозный и славный опыт революционной России и связанной с нею передовой русской литературы служит насущным сегодняшним интересам, служит делу победы коммунизма. Оно определяет и место Радищева в истории нашей литературы.

I

Александр Николаевич Радищев родился в деревне Верхнее Аблязово, Саратовского наместничества, 31 (20) августа 1749 года. В кругу род-

¹ И. В. Сталин. Сочинения, т. 13, стр. 25.

ной семьи Радищев провел свои первые семь лет жизни. Приставленный к нему дядька, крепостной Петр Мамонтов, научил мальчика читать и писать. В 1755 году в Москве по проекту Ломоносова был открыт первый русский университет. Отец Радищева отвез сына в Москву. Во время пятилетнего пребывания в Москве Радищев хотя формально и не числился в университете, но был тесно связан с детищем Ломоносова. После четырехлетнего пребывания в петербургском Пажеском корпусе Радищев в 1766 году был отправлен в лейпцигский университет. Там он основательно изучил юридические и естественные науки, философию, филологию, литературу и языки. Но «хотя разум и обрел много понятий», — вспоминал об этой поре Радищев, — этого еще было мало. Надо было мысли «устроить в порядок». Этому способствовал опыт жизни в колонии русских студентов, где Радищев познакомился и сдружился с молодым просветителем Федором Ушаковым. В Лейпциге Радищев познакомился с сочинениями русских просветителей, прочитав книгу Я. Козельского «Философические предложения» и сатирический журнал Н. Новикова «Трутень», начавших борьбу с рабством. Сразу по возвращении в Россию в 1771 году Радищев сближается с просветителем Н. Новиковым, развернувшим в это время широкую просветительскую работу. Ему-то и передает Радищев для издания сделанный им перевод книги французского мыслителя Мабли «Размышления о греческой истории». Этот перевод Радищев снабдил своими примечаниями, в которых резко выступил

против политической теории энциклопедистов и политики Екатерины II. В одном из таких примечаний Радищев так определил екатерининское самодержавие: «Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние».

Активность широких народных масс — отличительная особенность истории России XVIII века. Быстро растущая Россия, бурное развитие поднимающейся нации — это было живым ощущением современников, формировавшим их патристические чувства. В условиях огромных преобразований, происходивших в России в ту эпоху, в годы крупнейших политических и военных событий, когда были приведены в движение колоссальные массы народа, проявившего в этих событиях «бездну сил и мощи» (Герцен), культура складывающейся нации испытала на себе мощное и плодотворное влияние демократической идеологии. Особенно сильным это воздействие было в 60—70-е годы, когда небывалого в истории России размаха достигла освободительная борьба крепостных.

Сила поднимающейся нации, нараставшая из года в год антифеодалная борьба русских крестьян — вот что определило убеждения первого русского революционера.

Глубокими корнями связан Радищев с жизнью русского народа, с русской традицией, с событиями своего времени.

Год выхода первой литературной работы Радищева совпал с переменой службы. Из сената, где Радищев служил с осени 1771 по май 1773 года, он переходит в штаб 8-й Финляндской дивизии.

Этот факт биографии Радищева долго не был известен. В дивизии Радищев служит два года. Это были годы пугачевского восстания. Служба в качестве дивизионного прокурора (обер-аудитор) раскрыла Радищеву жизнь крепостного крестьянства, крупнейшие злоупотребления помещиков при продаже рекрутов, преступные действия правительства. Главное занятие Радищева состояло в разборе дел беглых рекрутов. Именно под влиянием впечатлений военной службы Радищев написал план своей первой обличительной статьи на тему русской жизни — «О злоупотреблениях при рекрутских наборах», который только недавно был опубликован.¹

Служба в дивизии позволила Радищеву ближе познакомиться и с ходом крестьянского восстания. Он читал приказы военной коллегии, донесения военачальников, указы Екатерины, беспрестанно находился в личном общении с людьми, прибывавшими с места военных действий. Так, оказалось возможным узнать и о знаменитых манифестах Пугачева, в которых были высказаны надежды, требования народа.

События крестьянского восстания послужили мощным толчком для теоретической работы Радищева. Он изучает историю России, проявляя особое внимание к многочисленным актам народного мщения, народным движениям, революциям в Европе и Америке. Восстание Пугачева является

¹ А. Н. Радищев. Избранные сочинения. ГИХЛ, 1949, стр. 657.

рубежом в идейном развитии Радищева. Именно в 80-е годы, как свидетельствуют его сочинения, он становится революционером.

Демократические воззрения Радищева, конкретность исторического мышления позволили ему увидеть оживотность нового, утвердившегося на его глазах в Америке буржуазного строя, антинародный характер социальных и политических установлений американской республики. Вот почему в «Путешествии из Петербурга в Москву» он гневно заклеймил американскую демократию, узаконившую рабство негров, отказался назвать «блаженной» страну, «где сто гордых граждан утопают в роскоши, а тысячи не имеют надежного пропитания, ни собственного от зноя и мраза укрова».

Первым произведением 80-х годов было «Письмо другу, жительствовавшему в Тобольске» (1782). Очерк этот посвящен реальному факту — открытию в Петербурге памятника Петру I. В облике «властного самодержца» Радищев увидел могучую личность великого преобразователя, русского «плотника», «обновившего Россию». В то же время, как настоящий революционер, Радищев смог увидеть ограниченность патриотизма Петра — он был царем, и оттого, укрепляя государство, он одновременно «истребил последние признаки дикой вольности своего отечества».

К 1783 году Радищев заканчивает оду «Вольность» — первое русское революционное стихотворение.

Вторая половина 80-х годов занята работой над «Житием Ф. В. Ушакова» и «Путешествием из

Петербурга в Москву». «Путешествие из Петербурга в Москву» писалось несколько лет. В 1789 году оно было в основном закончено, но издать революционное произведение было трудно. Радищеву пришлось завести у себя дома в Петербурге маленькую типографию, где вместе с близкими ему людьми он набирает и печатает книгу. В мае 1790 года «Путешествие» уже продавалось в книжной лавке Гостиного двора.

До Радищева народ не был героем искусства. О народе говорили, о нем упоминали, о его судьбе даже сожалели, но никогда он не был объектом изображения и тем более героем. Только Радищев смог первым изобразить народ и сделать русского крепостного, в его подлинно исторической жизни, героем своей книги «Путешествие». Как истинный революционер, он писал, что именно народу предстоит решить судьбу русского государства.

Образ бурлака открывает галерею крестьян, изображенных в книге. Вслед за ним идет пашущий крестьянин из Любани, девушка Аниота — крепостные, сумевшие, несмотря на гнет рабства, обречь их на безысходную тяжелую работу, сохранить в себе «величественные преимущества человека». Заканчивалось «Путешествие» «Словом о Ломоносове», гениальном сыне холмогорского рыбака. Ломоносов — великий деятель русской культуры, вышедший «из среды народных», неопровержимое свидетельство таланта и творческой способности к могучему государственному творчеству.

С особым вниманием и любовью Радищев

рисует народ в наивысший момент его жизни — в восстании, в бунте. В главе «Зайцово» показана расправа «доведенных до отчаяния» крестьян со своим помещиком. В главе «Хотиллов» прямо говорится о пугачевском восстании. В главе «Тверь», включавшей часть оды «Вольность», рассказывалось о будущей русской революции, о великих победах народа.

Всеми образами крестьян Радищев утверждает, что революция — наивысшее выражение творческих возможностей народа. Вот почему в «Путешествии» он выступает от имени угнетенного русского народа против крепостников и самодержавия, выступает с прямым призывом начать революцию.

Сила радищевского обличения крепостников екатерининского правления была такова, что Пушкин справедливо называл «Путешествие» «сатирическим призывом к возмущению». Выпуская «Путешествие» из печати, Радищев шел на подвиг. Он знал: самодержавие никогда не простит «возмутителя», но он шел на это, шел с открытым сердцем.

80-е годы — героическое десятилетие русской литературы XVIII века, десятилетие великих успехов русского просвещения. Объединенные общими целями, руководимые патристическими чувствами, русские просветители начали самоотверженную и героическую борьбу с екатерининским самодержавием. В Москве развернула деятельность Новиков. Он создал мощный просветительский центр, в распоряжении которого было 3 типографии, 5 журналов, газета.

Вокруг этих типографий и периодических изданий он объединил сотни передовых деятелей — писателей, ученых, переводчиков, редакторов, распространителей книг по России. В Петербурге активно действовали Фонвизин, молодой Крылов, Кречетов. Фонвизин выступил с народной комедией «Недоросль» — высшим художественным достижением русского просвещения в области театра. Его «Придворная грамматика» — грозное сатирическое произведение, обличавшее Екатерину и ее двор. Вслед за Новиковым Фонвизин предпринимает попытку издания сатирического журнала «Друг честных людей, или Стародум». В конце десятилетия в литературу вступил молодой Крылов, вступил как ученик Новикова и Фонвизина, выпустив свой первый сатирический, направленный против крепостников журнал «Почта духов». Поручик Кречетов создает из разночинцев тайное общество, поставившее целью борьбу с самодержавием. Со всеми этими людьми Радищев был связан узами личных и дружеских отношений, общим делом. Будучи знаком с Фонвизиним, высоко ценя его смелые сатирические сочинения, он пропагандировал их в своих книгах. С Новиковым он поддерживал все время деловые отношения. Сейчас обнаружены материалы, свидетельствующие о знакомстве Радищева с Кречетовым.¹

¹ См. мою статью «А. Н. Радищев и русская общественная мысль XVIII века» в Вестнике Академии наук СССР за 1952 г., № 9. На стр. 67 опубликован извлеченный из архива документ, свидетельствующий о работе Кречетова под началом Радищева.

Развернув в своих сочинениях идеи народной революции, Радищев преодолел историческую ограниченность просветительной идеологии, поднял русское просвещение на новую высоту. Тем самым он стал главой русского просвещения.

Слух о выходе «Путешествия из Петербурга в Москву» быстро распространился по столице. Дошел он и до Екатерины II. Императрица, получив книгу, стала сама ее читать, приходя в ярость от каждой страницы. Секретарь императрицы Храповицкий записал в своем дневнике: «Говорено о книге «Путешествие от Петербурга до Москвы»... открывается подозрение на Радищева... сказала изволила, что он бунтовщик, хуже Пугачева». Немедленно был дан приказ об аресте Радищева. Следствие вела сама императрица, и услужливые судьи по ее приказу осудили Радищева на казнь. Но испугавшись общественного мнения, Екатерина «помиловала» Радищева, сослала его «на десятилетнее безысходное пребывание» в далекий сибирский острог Илимск в надежде, что он там погибнет. Но ни следствие, ни суд, ни ссылка не сломили могучий дух революционера. Прибыв в ссылку, Радищев немедленно приступил к работе (философское сочинение «О человеке, его смертности и бессмертии» и ряд экономических произведений).

Смерть Екатерины избавила Радищева от сибирской ссылки. Но Павел отказался освободить революционера совсем, а перевел лишь в деревню Немцово под Москвой, где приказал жить под строжайшим полицейским надзором. Только со

смертью Павла Радищеву было разрешено вернуться в Петербург. После возвращения из ссылки Радищев активно занимается литературной работой, пишет многочисленные поэтические и прозаические сочинения, встречается с молодыми просветителями, своими почитателями, наконец определяется на службу в Комиссию по составлению новых законов. Там он пытается выступить с проектами освобождения крестьян. И здесь царские чиновники вновь напоминают Радищеву, что если он не смирится, то его ждет Новая Сибирь. Но ни смириться, ни быть верноподанным Радищев не мог. Чувствуя, как готовятся новые преследования, новая расправа, Радищев решил покончить самоубийством. 24 сентября 1802 года в 9 часов утра он принял яд и после долгих мучений ночью умер.

Подвиг Радищева был понят и оценен его современниками и потомками. В. И. Ленин писал об Александре I, что он сказался из тех монархов, которые «то заигрывали с либерализмом, то являлись палачами Радищевых».¹

На имя, на творчество Радищева самодержавие наложило запрет. До первой русской революции 1905 года его мятежная книга «Путешествие из Петербурга в Москву» не могла быть напечатана. И несмотря на это, Радищев органически и властно вошел в жизнь народа; его творческое наследие оказалось тем прочным фундаментом, на котором строилось в XIX веке великое здание русской литературы, русской общественной мысли.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 5, стр. 28.

Русский рабочий класс, руководимый партией большевиков, готовя социалистическую революцию, отлично помнил о тех революционерах, которые отважились выступить против самодержавия еще в глухие годы крепостничества. В. И. Ленин писал: «Нам больше всего видеть и чувствовать, каким насилиям, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилия вызывали отпор из нашей среды, из среды великоруссов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика».¹

Свободолюбец Радищев, пытаясь «проникнуть густую завесу времени», видел духовными очами счастливое будущее своего народа. Великая Октябрьская социалистическая революция навсегда принесла русскому народу свободу. Радищев обрел бессмертие. Он знал, что будет «жить не одной жизнью», будет «жить в душе друзей своих, будет жить стократно».

II

Поэзия привлекала самое пристальное внимание Радищева в течение всей жизни. Русские народные песни и «Слово о полку Игореве», Ломоно-

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 21, стр. 85.

сов и Державин, Сумароков, Карамзин со своими учениками и последователями, с одной стороны, и все крупные поэты Англии и Франции, Германии — с другой, античная поэзия и наследие персидского поэта Саади (сборник стихов которого «Гюлистан» — «Розовый сад» — он знал в немецком и французском переводах) — все это и многое другое внимательно читалось Радищевым, оценивалось, изучалось. Он был историком русской поэзии, дав первый научный очерк о Ломоносове-поэте, определив его место и роль в русской литературе; ее теоретиком — разработав вопросы метрики, рифмы, поэтического мастерства и в «Путешествии из Петербурга в Москву» (глава «Гверь») и в специальном сочинении «Памятник александрическому витязю». Наконец, он выступил как поэт. Первые стихотворные опыты, по свидетельству самого Радищева относящиеся к 70-м годам, до нас не дошли. Первое известное нам стихотворение — ода «Вольность» — писалось в 1781—1783 годах. Затем Радищев писал стихи в ссылке — в Сибири и в Немцове. Смерть оборвала работу над несколькими крупными поэмами: «Бовой», «Песнями историческими», «Песнями, петыми на состязаниях».

Поэтическое наследие Радищева невелико объемом. Но вклад Радищева-поэта огромен, — он зачинатель русской революционной поэзии, ее основоположник. Традиция гражданской поэзии, созданная Ломоносовым, была им подхвачена, с новой силой развита, будучи оплодотворена революционной идеей. Тем самым Радищев определил

темы, содержание, стиль русского революционного стихотворения на долгие десятилетия. Он первый создал образцы истинно высокой поэзии, показав, что высота — это наивысшее напряжение мыслей и чувств человека, живущего интересами родины и народа, познавшего великое счастье служения свободе, воодушевленного мужественным желанием бороться за будущее, которое представляло перед его духовными очами. Именно эта радищевская высокая поэзия была усвоена декабристами и Пушкиным, создававшими замечательные вольнолюбивые стихи, в которых было выражено «дум высокое стремленье» поколения дворянских революционеров.

Герцен засвидетельствовал: «И что бы он (Радищев. — Г. М.) ни писал, так и слышишь знакомую струну, которую мы привыкли слышать и в первых стихотворениях Пушкина, и в «Думах» Рылеева, и в собственном нашем сердце».¹

В 80-е годы Радищев принимает твердое решение использовать литературу для революционной пропаганды. Писатель мог многое сделать в крепостной России, — об этом свидетельствовал и опыт просветителей Франции и опыт русской литературы. Ломоносов, Новиков, Фонвизин высоко подняли звание писателя, подчеркнув общественный характер его деятельности. Опираясь на их практику, Радищев выразил свое мнение о писателе. Писатель не только патриот, но и револю-

¹ А. И. Герцен. Полное собрание сочинений и писем. П., 1919, т. IX, стр. 271.

ционер — «прорицатель вольности», и потому, следовательно, политический деятель, вождь освободительного движения. Свое учение о роли писателя в обществе Радищев полнее всего изложил в «Путешествии из Петербурга в Москву». Там мы читаем: «Недостойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и всевладие, для того, что не могли избавить человечество из оков и пленения».

Писатель должен не только карать, обличать и судить самодержавную власть, «губительство и всевладие», — но еще обязан воспитывать общество, бороться с заблуждениями, множить число своих единомышленников.

В этих условиях естественным было обращение к традициям русской литературы. Вот почему Радищев приступил в 1780 году к написанию историко-литературного и теоретического очерка о Ломоносове. Ломоносов, гениальный русский поэт, реформировавший поэзию, пишет Радищев, показал великую роль художественного слова и явился значителем «витийства гражданского», силой своего творчества утвердив «право неоцененное» поэта «действовать на своих современников». Эти особенности ломоносовского творчества служили для Радищева прочным основанием, на котором предстояло ему строить здание новой, революционной поэзии.

Со второй половины XVIII века в России господствующее место занимала дворянская литература, которая была литературой классицизма. После пугачевского восстания, обнаружившего со всей силой кризис крепостнической системы, неиз-

бежность роста борьбы народа со своими угнетателями, началась в правящем классе интенсивная работа по идейному перевооружению дворянства. Эта работа, в частности, определила и переход дворянской литературы от старой эстетики к новой, от классицизма к сентиментализму, который в новых исторических условиях мог с большим успехом выполнять свою главную идеологическую задачу — отстаивание дворянских интересов. Представители старой школы — Херасков, Муравьев, Богданович, Капнист — первыми уже с конца 70-х годов стали переходить на новые эстетические позиции. В 80-е годы в их ряды вошла молодежь — Алексей Кутузов, Александр Петров и Николай Карамзин. Последний с начала 90-х годов станет вождем, организатором и теоретиком уже мощного к этому времени движения русского сентиментализма.

Сентиментализм разрушал эстетику классицизма, разрушал и его жанры. Он, в частности, отверг в поэзии оду, с ее высокой государственной темой, высоким торжественным ораторским стилем. Новая школа утверждала в поэзии прежде всего частную тему, настаивала на показе интимной жизни человека, культивируя легкий, шуточный, «забавный» слог. Правда, при всем своем декларативном отказе от одической традиции и при всей своей приверженности к темам частной жизни человека, «жизни сердца», сентименталисты и ранние и поздние не уставали «петь» Екатерину, а потом Александра. Важнейшая тема поэзии классицизма — прославление монарха — была по наследству воспринята сентименталистами. Но делали

они это уже с новых эстетических позиций. Первым образцы показал Богданович, воспевавший Екатерину после подавления ею пугачевского восстания в шуточной поэме «Душенька».

Новому искусству сентиментализма противостояла литература русского просвещения, представленная в это время деятельностью Новикова, Фонвизина в первую очередь. Оба эти просветителя воевали с классицизмом и сентиментализмом, отстаивая новую эстетику «действительной живописи», в которой уже проступали черты складывающегося русского реализма, боролись за гражданскую литературу, развивали сатиру, смело обличали крепостнические порядки в России и деятельность Екатерины. На этот путь встал в конце 80-х годов их ученик Крылов. Все эти три писателя были прозаиками.

Радищев, примкнувший к этому просветительскому фронту литературы, выступил не только как прозаик, но и как поэт. Именно в поэзии ему предстояло «вдаться в области неизведанные», прокладывая пути русскому революционному стихотворению. Ломоносовское гражданское витийство, несомненно, служило опорой для новаторства поэта-революционера. Но и его ода не могла удовлетворить Радищева. Тем более не могла его удовлетворить поэзия дворянского классицизма. Эта дворянская литература была враждебна ему. «Пушай другие, раболепствуя власти, — дерзновенно писал Радищев, — превозносят хвалою силу и могущество». Поэтом предстояло преодолеть нормативную эстетику господствующей литературы

классицизма, разрушить его теорию жанров, отметить ставшие традиционными и обязательными представления о предмете высокого, о теме оды.

Высокое в классицизме определялось сословной идеологией — все то, что было посвящено богу и царю. Радищев подошел к этому с иных позиций. Главная задача поэта-революционера, живущего в рабской стране, — воспеть свободу. Воспеть свободу — значит утвердить мысль о равенстве людей, об их праве вернуть себе отнятую у них вольность, то есть о праве борьбы со своими угнетателями. Естественно поэтому, что первым стихотворением Радищева, открывавшим новый путь в русской поэзии, стало стихотворение, посвященное свободе, — ода «Вольность». Так русская революционная мысль оказалась впервые изложенной поэтическим словом.

Рабство, писал Радищев, «разум и сердце человеческое обессиливает, налагая тягчайшие оковы взыскания и угнетения, подавляющее силы духа вечного». Наоборот, свобода воодушевляет человека, поднимает к новой, высокой жизни. «Известно, что человек существо свободное, поелику одарено умом, разумом и свободною волею; что свобода его состоит в избрании лучшего, что сие лучшее познает он и избирает посредством разума, постигает пособием ума и стремится всегда к прекрасному, величественному, высокому» (подчеркнуто мною. — Г. М.).¹

¹ А. Н. Радищев. Избранные сочинения. ГИХЛ, 1952, стр. 200.

До Радищева термин «вольность», как выражение определенного политического понятия, широко употреблялось именно в дворянской и правительственной литературе, и при этом оно совсем не связывалось с понятием политической свободы крепостного народа. Наоборот, оно выражало дорогое дворянскому сердцу — главные и вечные его права. Отчетливее всего это проявилось в манифесте Петра III от 18 февраля 1762 года «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству». Дворянскому идеологу, каким, например, был Сумароков, просто в голову не приходило, что вольность может быть желаемая или свойственная крестьянам, настолько было для него очевидно, что вольность нужна только дворянству. В известном ответе Сумарокова на конкурсную задачу Вольно-экономического общества — полезно ли крепостным крестьянам иметь собственность или нет, мы читаем: «Прежде надобно спросить, нужна ли ради общего благоденствия крепостным людям свобода? На что я скажу: потребнее ли канарейке, забавляющей меня, вольность, или потребна клетка, — и потребна ли стерегущей мой дом собаке цепь? Канарейке лучше без клетки, а собаке — без цепи. Однако одна улетит, а другая будет грызть людей; тако одно потребно для крестьянина, а другое ради дворянина».¹

Именно в этом духе рассуждает о вольности госпожа Простакова. И она убеждена, что вольность нужна только дворянству.

¹ А. И. Ходнев. История императорского Вольного экономического общества с 1765 до 1865. СПб., 1865, стр. 25.

Екатерина II в Наказе, верная своей политике либерализации, дала иное толкование вольности: вольность, писала она, есть не что иное, как равное повиновение законам. Такой формулировкой Екатерина как бы распространяла понятие вольности на всех подданных. Подобное толкование было выгодно тем, что, ничего не меняя в социальных отношениях крепостной России, можно было позволить себе объявить «вольными» людьми все классы России. Через несколько лет Екатерина пошла еще «дальше» в этом направлении и «истребила в России звание раба», — так цинично и нагло называлась отмена обычая подписывать письма словом «раб». Поэт Капнист немедленно дал этому манифесту идеологическое толкование — в России наступила свобода:

Теперь, о радость несказанна!
О день, светлая дня побед!
Царица, небом ниспосланна,
Неволи тяжки узы рвет;
Россия! ты свободна ныне

и т. д.

Такое употребление дворянством термина «вольность» — типичный пример навязывания господствующим классом словам общенародного языка удобные ему значения. И. В. Сталин учит: «Но люди, отдельные социальные группы, классы далеко не безразличны к языку. Они стараются использовать язык в своих интересах, навязать ему свой особый лексикон, свои особые термины,

свои особые выражения. Особенно отличаются в этом отношении верхушечные слои имущих классов, оторвавшиеся от народа и ненавидящие его: дворянская аристократия, верхние слои буржуазии».¹

В общенародном языке слова воля, вольность всегда значили или свободу от плена, или свободу от тюрьмы, или, после окончательного утверждения крепостного права, — свободу от крепостности, от рабской зависимости. Воля, вольность — заветные слова русского народа, выражающие его мечту, его идеал жизни, его надежды, слова, поднимающие человека на борьбу со своими поработителями. В своем творчестве — песнях, пословицах, сказках — народ воспевал вольность, вольницу, вольных, смелых, независимых людей.

С новой силой народ заговорил о вольности во время пугачевского восстания, категорически заявив, что именно ему, находящемуся в крепостной кабале, она более всего потребна. Манифесты Пугачева потому и обладали огромной притягательной силой, потому и имели величайшее агитационное значение, что они обещали народу вольность. Из указа в указ повторялись сокровенные слова: «Жалуем сим именным указом... находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков... волностию и свободою». Или: «Намерены... учинить во всей России волность». Или: «И будет от меня волным и невольным,

¹ И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. М., 1952, стр. 13.

всем моим, которые меня почитающим, воля». Или: «Слушайте!.. Ныне я вас во-первых, даже до последка, землями, водами, лесами, жительствовами, травами, реками, рыбами, хлебами, законами, пашнями, телами, денежным жалованьем, свинцом и порохом, как вы желали, так пожаловал по жизни вашу. И пребывайте так, как степные звери. В благодеяниях и продерзостиах всех вас пребывающих на свете освобождаю и даю волю детям вашим и внучатам вечно».¹

Слово вольность прозвучало в дни пугачевского восстания пламенным лозунгом, оно поднимало покорных, оно воодушевляло забитых, оно вооружало решимостью в жестокой борьбе отстаивать свои исконные права. Это слово, опаленное пожаром восстания, исполненное истинных народных чаяний, запечатлевшее вековую мечту миллионов угнетенных, и ввел Радищев в литературу. С Радищева слово вольность стало звучать в русской литературе призывом к революции, к разрушению самодержавия, к уничтожению крепостничества.

В ходе восстания термин вольность наполнился и конкретным социально-политическим содержанием: вольность — это уничтожение крепостной зависимости, это частная собственность на землю, это свобода от тяжелых рекрутских наборов, от дворянских законов, это независимость личная, при которой каждый «может восчувство-

¹ «Русская проза XVIII века». ГИХЛ, 1950, т. 1, стр. 247, 252, 253.

вать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжатца будет».

Нет сомнения, что только после великой революционной войны могло быть написано первое революционное стихотворение в России на тему о свободе и вольности. Демократическая идеология, творимая народными массами, помогла Радищеву в его подвиге. Но также несомненно и то, что Радищев бесконечно далек от какой-либо идеализации стихийного восстания, проходившего под царистским лозунгом. Именно ода «Вольность» это обнаруживает с полной ясностью. Восстание проявило яркую ненависть крепостных к помещикам, раскрыло творческую энергию народа, выявило истинные чаяния народа и те права, за которые народ готов был сражаться силой оружия. Это все и помогло Радищеву. Но в то же время восстание лишено было политической программы, оно проходило под лозунгом борьбы с помещиками, но за хорошего царя. Вследствие этого политический лозунг «вольность» в ходе восстания не был направлен против самодержавия.

В оде же «Вольность» Радищева были изложены основы революционной идеологии, высказана мечта о будущей победе народа в борьбе с самодержавием.

Задача изложения революционных идей определила композицию первого русского стихотворения. Первые две строфы — это гимн вольности, которая раскрывалась в значении, определенном народом. Вольность — великий, «беспредельный дар» человека, она — «источник всех великих дел» его,

она — выражение его главных прав, так как «от рождения свободен». Такая вольность была грозной для помещиков и самодержавия. Поэтому первая строфа заканчивалась прямым обращением

Сидяй во власти да смянутся
От гласа твоего цари.

Эта угроза неотвратимо свидетельствовала, что речь идет не о той вольности, о которой любимо говорить монархи и дворяне. Радищевская вольность привела в ярость Екатерину, так же, как вольность, объявленная в пугачевских манифестах. Неслучайно поэтому она точно сформулировала эту связь радищевских убеждений с народным восстанием: «Радищев бунтовщик, хуже Пугачева».

Дальнейшее развитие оды определялось актуальной задачей раскрытия истинного содержания вводимого Радищевым нового политического понятия. Прежде всего, что является «препоной свободе?» На это следовал ответ — этой препоной являются законы, создаваемые самодержавием и освящаемые церковью, согласно которым у народа отняли вольность и утвердили рабство. Но если законы, созданные самодержавием, «претят свободе», значит, во-первых, это не истинные законы, а ложные, и, во-вторых, значит их надо уничтожить вместе с тем, кто их создал, — самодержавием. Так возникает в оде тема мщения. Радищев описывает приход мстителя, который «прорицает вольность». И велика сила революционного слова! Самодержец «трепещет», а народ

занимается на восстание. «И се молва от края до края, глася свободу протечет». И тогда «возникнет рать повсюду бранна, надежда всех вооружит, в крови мучителя венчанна омыть свой стыд всяк спешит». Очевидно, что эта великая вера в агитационную роль слова, вера в призывную силу вольности, в ее способность поднимать тысячи людей на борьбу могла родиться только после пугачевского восстания, когда именно это слово, бывшее лозунгом движения, протекало от «края до края» России, вооружало надеждою тысячи «препостных», создавая «бранную рать», творившую несправу со своими мучителями.

В итоге восстания — народ судит монарха. После долгой традиции одической похвалы, лести монарху в России появилась ода, прославляющая суд над самодержцем. Радищев развивает мысль — народ имеет право судить самодержца, потому что он преступил истинный закон, установленный самим народом: «Во власти всех своей зрю долю, свою творю, творя всех волю: вот что есть в обществе закон». Вопрос ставился исторически: когда-то народ «облек во порфиру» царя с задачей «равенство в обществе блаости». Поскольку именно этого самодержец не исполнил, а, наоборот, «восстал против народа», то последний имеет право свергнуть, осудить и уничтожить самодержавие.

Но кто же, если не просвещенный монарх будет «источником законов» в стране, кто будет творить «добро», в котором нуждается непросвещенный народ? Радищев ответил — свободный народ.

Именно в ответе на этот вопрос сказались не глубокое и принципиальное расхождение русского и французского просвещения. И Вольтер, и Дидро и даже Руссо не были сторонниками немедленного освобождения крестьян. Причиной этого был страх перед народом, неверие в его творческие силы.

Первым из русских просветителей против этого заблуждения выступил Яков Козельский. Радищев продолжил эту борьбу с просветительскими заблуждениями, но уже с революционных позиций. Вот почему, показав свержение самодержавия и суд над монархом, Радищев вторую половину оды (с 25-й строфы) посвятил созидательной деятельности освобожденного народа. Пржде всего народ «строит», создает новые и истинные законы

Законом строит твердь природы,
Велик, велик ты, дух свободы,
Зиждителин, как сам есть бог!

В автокомментарии к этой строфе Радищев замечает, что здесь «заклчено описание царства свободы и действие ее, то-есть сохранность, спокойствие, благоденствие, величие». Так впервые в поэзии была дана картина будущего царства свободы, которая затем, подхваченная декабристами, Пушкиным, Чернышевским, пройдет через всю русскую литературу. В центре этого царства — свободный земледелец, его труд, его счастье, его новая жизнь.

Завершается ода вдохновенным пророчеством о

будущей победе русской революции. Историзм взглядов Радищева позволил отчетливо понять, что в современных ему условиях победа народа еще невозможна. «Но не пришла еще година, но не свершился судьбы». И все же при этом выводе Радищев чужд пессимизма. Вот отчего ода кончается светлым и глубоко оптимистическим описанием «избраннейшего дня» победы русской революции, которая обновит «отечество драгое».

Радищев предчувствовал появление продолжателей его дела, он ждал их. С гордой уверенностью он писал, что «проложил, где не бывало следа для гордых смельчаков, и в прозе и в стихах» путь революционной поэзии. В последующем гражданские поэты начала XIX века — Гнедич, Ганника, Востоков, Пнин, в 10-е годы — Пушкин и декабристы Раевский, Рылеев и другие — мощно развили именно радищевские принципы вольнолюбивой поэзии. Радищев создал первое революционное произведение, определив круг основных вопросов и тем, требующих своего раскрытия, их взаимосвязь, их развитие, создав новую композицию высокой оды, чуждой классицизму. Именно эта композиция, этот круг тем, определенных Радищевым, и воспроизведен в основных чертах в русской вольнолюбивой поэзии. Первым поэтом, кто последовал за Радищевым, был Гнедич (стихотворение «Перуанец к испанду»). Первый, кто смело указал на вдохновляющий источник и образец, был Пушкин. Начиная с своей оды «Вольность» он, по собственному выражению, пошел «во след Радищеву».

Но не только определить круг тем и композицию революционного стихотворения предстояло Радищеву. Перед ним вставала другая, не менее трудная задача — для выражения революционных идей нужно было, отталкиваясь от существующих значений слов, создавать новые значения, производить отбор слов, способных передать «высокий строй» чувств человека, вырабатывать термины для передачи новых политических понятий. При этом политические термины должны были включать в себя силу поэтического слова, ибо они органически входили в поэтическое произведение. Первой удачей Радищева, как мы видели, было введение в литературный язык термина вольность с новым, революционным содержанием. По этому пути Радищев пошел и дальше.

Важнейшая тема оды — суд над царем. Много десятилетий в сотнях од поэты прославляли монарха. Вся официальная пропаганда — светская и духовная — возвеличивала царя, объявляла его власть божественной. Значит, чтобы убедить читателя в праве народа судить царя, надо было не только политически сформулировать его вину, — не выполнил требований народа, посадившего его на трон, — но и поэтически снизить образ царя. Так появились в оде дерзновенные эпитеты «злодей» [затем усилено — «злодей злодеев всех лютейший»], «преступник» [затем также усилено — «преступник изо всех первейший»].

Оба эти слова имели широкое распространение в живой речи. «Словарь Академии Российской» зафиксировал следующие значения слова «злодей»:

«Злодей. 1. Враг, недруг, сопостат. 2. Законопреступник, человек, подверженный тяжким порокам». Употреблялось это слово и в значении бранном — «негодяй», «подлый человек».

Рассматривая роль слова «злодей» у Радищева в системе его политических убеждений, нельзя не прийти к выводу, что оно в своем конкретном применении к царю начинало включать в себя оттенки нового значения, впитав в себя революционную мысль о народе как творце законов и судьбе монарха. В самом деле, в оде «Вольность» слово «злодей» не просто бранная характеристика царя, оно имеет больший смысл: царь — «злодей» потому, что он ослушался воли народа, потому что в народе он видел лишь «подлую тварь». В таком значении словосочетание «царь-злодей» и было закреплено в русском освободительном движении, в русской вольнолюбивой поэзии. До Радищева это словосочетание данного значения не имело.

Правда, в периоды народных восстаний можно встретиться с случаями, когда царя называли «злодеем». В годы пугачевского восстания, как свидетельствуют манифесты восставших, злодеями назывались дворяне. Но во всех этих случаях мы сталкиваемся прежде всего с использованием бранного значения слова. Несомненно также, что наименование дворян «злодеями» в манифестах имело чисто агитационное значение, так как служило задачей развевать рабское представление о помещике-господине. Наименование дворян «злодеями» звучало призывом к расправе с

помещиками. Совершенно очевидно, что радищевское значение словосочетания царь-злодей, включавшее в себя революционную мысль о народе как истинном творце законов, не было свойственно восставшим и не могло родиться в ходе крестьянской борьбы. Следовательно, именно Радищеву принадлежит заслуга придания нового значения слову «злодей», обусловленное его революционным мировоззрением. Острота такого словосочетания, несомненно, определялась еще и тем фактом, что оно оказывалось открыто полемическим в отношении к тому значению слова «злодей», которое было закреплено в екатерининских манифестах.

Изображая суд народа над царем, описывая восстание угнетенных, победу свободы, Радищев встал перед необходимостью дать название этому политическому акту. Естественным казалось бы, с современной точки зрения, ввести слово революция. Но его нет у Радищева. Вместо него мы встречаем «мщение». «Се право мщенное природы» — так называет Радищев борьбу народа с самодержавием. В последующем, в «Путешествии из Петербурга в Москву», он назовет «мщением» пугачевское восстание. Будущая победа свободы в России тоже произойдет вследствие того, что народы за «себя отомстят». Слово «революция» в ту эпоху не имело широкого распространения. Писать оду — пламенный призыв к свободе, употребляя слова, неизвестные народу, Радищев не хотел. Словом же «мщение» он стремился подчеркнуть справедливое, исторически законное право угнетенных силой оружия вернуть отнятую у них сво-

боду. Больше того — слово это передавало всю веками накопленную ненависть крепостных к своим поработителям, их решимость и долг бороться с ними.

Совершенно правилен вывод новейшего исследователя, изучавшего употребление слов «мучитель» и «мучительство» в «Путешествии из Петербурга в Москву»: «Находясь под пером Радищева на пути терминологизации, они выступают как синонимы понятий «царь», «самодержавие». ¹ Самодержавие и крепостное право взаимосвязаны, утверждает Радищев. Самодержавная власть распространяла рабство, охраняла его. Вот почему появилось новое словосочетание, характеризующее эту связь самодержавия с крепостным правом, — «трон рабства».

Соответственно разрабатывалась целая система слов — определений царя. Выше говорилось о содержании нового понятия «царь-злодей». Наряду с этим мы находим в оде другие определения царя: «венчанный мучитель», «истукан власти», «владыка», «сторожкий исполин» и т. д. Нетрудно заметить, что определило радищевское желание использовать именно эти слова для передачи общепринятого термина — царь-самодержец. Отобранные поэтом слова — своего рода синонимы слова «царь» — давали в поэтическом языке оды

¹ Н. Ю. Шведова. Общественно-политическая лексика и фразеология «Путешествия из Петербурга в Москву». В книге: «Материалы и исследования по истории русского литературного языка». Изд-во Академии наук СССР, 1951, стр. 41.

читателю оценку, они были эмоционально окрашены чувством негодования, возмущения автора, выражая его осуждение действий и поступков царя. Такая эмоциональная окраска слов создавала особый поэтический стиль высокого стихотворения, способного открыто выразить строй чувств человека, ненавидящего самодержавную власть, крепостничество, угнетение, политическое бесправие.

Разработана Радищевым и поэтическая терминология для обозначения понятий «революционер», «борец за свободу народа». Используя для этого слова, имеющие общие значения, Радищев придавал им новые, несвойственные им ранее оттенки. И эта новая окрашенность слова позволяла создавать особую поэтическую терминологию, которая была затем подхвачена и развита в русской вольнолюбивой поэзии Гнедичем, Пушкиным, Рылеевым, Кюхельбекером и др.

Восставший человек — борец, революционер — именуется Радищевым «мстителем», «вождем», «великим мужем», «прорицателем вольности», чье вдохновенное слово собирает «бранную рать», вооружает «надеждой» народ и увлекает его на мщение — революцию.

Найдя новые слова для выражения своих революционных идей, создав новые термины и понятия, придав новое значение и оттенки старым словам, Радищев не только смог осуществить замысел — написать первое русское революционное стихотворение, но и определить надолго терминологию русской вольнолюбивой поэзии, ее стиль. Карамзин и Муравьев, вожди сентиментализма, со-

здали поэтический язык для выражения частных чувств человека, жизни его сердца. Введенные ими слова для выражения «чувствований» были восприняты Жуковским и Батюшковым, оказали свое влияние на лирику Пушкина лицейского периода. Радищев явился основоположником революционной поэзии. Им создана и определена главная терминология, выражающая высокие свободлюбивые чувства человека, его стремление к свободе, произведен первый отбор слов и обусловлено их осмысление с революционных позиций. И вслед Радищеву пошла Гнедич, Пушкин, Раевский, Рылеев и др. В их стихах мы встречаем и определенный подбор слов — впервые осуществленных в оде «Вольность», и слова-термины, употребленные вслед за Радищевым и именно в радищевском значении: «свобода», «вольность», царь — «злодей», «преступник», «истукан», революция — «мщение», революционер — «мститель», вольный человек — «свободный муж», самодержавие — «мучительство» и т. д.

Из приведенных примеров видно, в каком направлении шла работа Радищева над словарным составом оды. Поэту предстояло впервые сформулировать русскую революционную мысль. Вот почему Радищев отказался не только от слога рационалистической оды классицизма, но и от слога легкой поэзии, от языка «сладостного», «шуточного», «забавного».

В комментариях к оде, данных в «Путешествии из Петербурга в Москву», Радищев подчеркнул одну особенность стиля оды: нарочитую затруд-

ненность. Разбирая первую строку, поэт говорит: «Сию строфу обвинили для двух причин: за стих «во свет рабства тьму претвори». Он очень туг и труден на изречение ради частого повторения буквы т и ради соития частого согласных букв «бства тьму претв» — на десять согласных три гласных. А на российском языке толико же можно писать сладостно, как и на итальянском... Согласен... хотя иные почитали стих сей удачным, находя в негладкости стиха изобразительное выражение трудности самого действия».

Такова первая стилистическая особенность оды, определенная самим Радищевым, — передавать трудность самого действия — рождения свободы в рабском государстве, рождения революционных идей. Это нашло выражение и в лексике и в синтаксисе оды. Поэт подбирал особые слова и нарушал обычный порядок слов в предложении, широко используя инверсию. Именно поэтому ода наполнена словами, в которых преобладают согласные. Этим, в частности, объясняется частое употребление Радищевым неполных форм (жла, возмнил, вспрянул и т. д.). В важнейших по смыслу местах появляются подряд строчки, подобные указанным Радищевым в первой строфе. Так, в строфе 10 читаем: «Где тусклый трон стоит рабства». Здесь также частое повторение звука т и на восемь гласных приходится семнадцать согласных. То же наблюдаем в строфе 34: «где стерта зверствать стоит» и т. д.

Второй особенностью стиля оды является широкое использование славянизмов и старорусских

слов, ставших малоупотребительными во второй половине XVIII века, которым Радищев придавал новый смысл, новое значение. Используя опыт Ломоносова, смело вводившего славянизмы в русский литературный язык, Радищев создал стиль высокой революционной поэзии. При этом Радищев далек от архаизации речи — его славянизмы и старорусские слова не возрождали отживших понятий, но наполнялись новым содержанием, получали второе рождение, начинали служить насущному и великому делу русской революции.

Так, восставший народ у Радищева «течет» на «вече», мститель «грядет», «прорекая» воленость, дух свободы оказывается «зжидительным», земледелец именуется «оратаем». Подчеркивая новый строй души свободного человека, Радищев пишет про него, что он «вождаем мужеством в стезях». Именно «стеяз свободы» ведет человека к блаженству. Революция другого народа обнажает «мету». Когда наступит день будущей революции, то «встрещат заклепы тяжкой ночи», и т. д.

Использование этих «коренных русских слов» и славянизмов позволяло Радищеву, кроме того, освящать борьбу народа за свою свободу национальной традицией. Известно, что использование славянизмов для создания революционно-гражданской поэзии нашло отклик и у Пушкина и у декабристов, что для подчеркивания национальной традиции декабристы использовали в своих политических сочинениях древнерусские слова и термины.

Уже говорилось, что Радищев выступал зачинателем русской революционной поэзии. Естественно

поэтому, что не все из его опытов, исканий и решений себя оправдало. Так, иногда, передавая трудность действия «негладкостью стиха», Радищев не достигал успеха, отчего эта «негладкость» мешала пониманию мысли стихотворения. Некоторые славянизмы оказывались лишними потому, что не всегда удавалось возродить их к новой жизни, и тогда они не помогали авторскому замыслу, а мешали его воплощению, затемняя подлинное содержание революционной мысли. Нередко мешали читательскому восприятию и многочисленные неоправданные инверсии.

В заключение надо сказать еще об одной теме оды «Вольность». Именно потому, что она была первым образцом высокой поэзии в новом значении этого слова, она была лирической. Лирическая стихия оды «Вольность» воссоздала духовный облик первого русского революционера. Небывалым предстало «тайное тайных» души лирического героя оды. Ненавистник рабства, свободолюбец, он жил единой жизнью с окружающим миром, его мечты прорывали «завесу времени, будущее от нас отделяющего». Он печалился — и это была скорбь патриота, видевшего «в отечестве своем драгом» ненавистное самодержавие и рабство. Он мечтал — и это была мечта о революции в России, о «дне избраннейшем всех дней».

Радищев показал, как весь духовный мир его лирического героя обусловлен национальными и социальными обстоятельствами политического бытия России. В этом отношении особый смысл имеет строфа, в которой Радищев формулирует свое по-

нимание целей и смысла человеческого существования, определенных условиями жизни в России, первым сыном которой он оставался:

Но нет! где рок судил родиться,
Да будет там и дням предел;
Да хладный прах мой осенится
Величеством, что днесь я пел;
Да юноша, взалкалый славы,
Пришед на гроб мой обветшалый,
Дабы со чувствием вещал:
«Под игом власти, сей рожденный,
Нося оковы позлащенные,
Нам вольность первый прорицал».

«Обаятелен мир внутренний, — писал в одном из своих писем Белинский, — но без осуществления во вне он есть мир пустоты, миражей, мечтаний». Это открыл для себя Радищев. Его внутренний мир — мир «прорицателя вольности», русского революционера — жаждал осуществления вовне, в этом внешним миром была для него революционная деятельность. Вот отчего так обаятелен и прекрасен мир этого человека.

III

После оды «Вольность» Радищев надолго занялся прозой. Но с конца 90-х годов поэзия вновь станет в центре его внимания. Лирика и большие эпические произведения, политические стихи и сатирическая поэма — таков разнообразный круг творческих интересов Радищева.

Бесконечные преследования самодержавия, продолжавшиеся с ареста в 1790 году до конца жизни, не убили живую душу поэта. Мужественный мыслитель не отказался от своих убеждений, не изменил своим политическим взглядам. И после Сибири он попрежнему оставался на позиции оды «Вольность» и «Путешествия из Петербурга в Москву». В этом самая замечательная особенность его творчества: воспитываемый обстоятельствами, он рос и мужал как человек и мыслитель, его мировоззрение закалялось в испытаниях и опыте, а революционная мысль, вторгавшаяся в разные области истории, философии и поэзии, одерживала все новые и новые победы. Ведущее место в литературном наследии последнего периода жизни Радищева занимают стихи. Именно в них запечатлен опыт жизни преследуемого и гонимого самодержавием русского революционера. Именно они являют собою пример новой лирики в русской поэзии. Эти стихи, изданные в составе первого тома «Собрания оставшихся сочинений покойного А. Н. Радищева» (вышел в 1807 году) и ставшие достоянием широкого круга читателей, были усвоены и восприняты передовой литературой эпохи — просветителями и революционерами нового, XIX века. Поэтому выход в 800-е годы собрания сочинений Радищева, и в частности его стихов, есть крупное явление общественно-литературной жизни начала века.

Теоретические взгляды Радищева на поэзию этой поры, его мысли о дальнейших путях развития русского стихотворства нашли свое выражение в

специальном сочинении «Памятник дактилохорейческому витязю», написанном в 1801 году. В этом сочинении Радищев продолжал свои разыскания в области теории русского стихосложения, начатые еще во время написания «Путешествия из Петербурга в Москву». Как известно, в главе «Тверь» этой книги были впервые изложены им наблюдения о поэтических достижениях Ломоносова и Тредьяковского.

Создавая революционные произведения, выдвигая перед русскими писателями новую задачу — подчинить литературу делу освобождения народа, делу революции, — он прочно опирается на русскую традицию. Говоря о поэзии, он ссылается на сделанное Ломоносовым и Тредьяковским. Заслуга Тредьяковского (выступил в 1735 году с книгой «Краткий и новый способ к сложению стихов российских»), и особенно Ломоносова (в 1739 году написавшего «Письмо о правилах российского стихотворства»), определена тем, что они освободили русское стихосложение от чуждого ему силлабического размера, создали тонический стих, основанный на чередовании ударений. Радищев ценит реформы этих поэтов за то, что они положили в основание русской поэзии прочную национальную базу. Но будучи революционером не только в политике, но и в эстетике, Радищев требует от писателей новаторства. Исторически же дело сложилось так, что, утвердив тоническое стихосложение, Ломоносов канонизировал лишь один размер — ямб. Сила поэтической практики Ломоносова была такова, что он «надел на

последователей своих узду великого примера», и все последующие поэты писали лишь ямбом. Вот почему Радищев приветствует опыт Тредьяковского, изданного в 1766 году «Тилемахиду», где, отступив от ямба, он пишет русским гекзаметром (шестистопный дактиль без рифмы), но в то же время отмечает, что наличие слабых стихов у Тредьяковского помешало утверждению нового размера и эта попытка не заставила русских поэтов отказаться от прочно усвоенного ямба.

Пушкин, внимательно читавший «Памятник», высоко ценя радищевский анализ поэмы Тредьяковского, писал: «Его изучения «Тилемахиды» замечательны».

Теоретические требования, высказанные в «Памятнике», — разнообразить метрику, шире использовать белый стих — Радищев осуществил в своих поэтических опытах последнего периода. Так, все поэмы и стихотворение «Журавли» написаны русским безрифменным стихом, античным размером (элегическое двустушие) — «Осмнадцатое столетие». Поэма «Песни, петье на состязаниях» является образцом соединения различных размеров в одном произведении.

Другим важным моментом в «Памятнике» является наблюдение Радищева над звуковой организацией стиха. Радищев первым с такой полнотой, тщательностью и искусством показал, какое важное значение имеет в стихе звуковой образ, обратил внимание поэтов на роль ассонансов и аллитераций, давая объяснение этой стороне стихосложения.

Когда Радищев в конце 90-х, в начале 800-х годов вновь вернулся к поэзии, в литературе господствовала карамзинская школа, дворянский вариант сентиментализма. Политическая программа и эстетические убеждения этой школы были враждебны поэту-революционеру. Вот почему и объективно и субъективно (Радищев и в Сибири и тем более по возвращении в Петербург имел возможность следить за всеми новыми книгами модных поэтов) вся литературная работа Радищева была подчинена борьбе с карамзинизмом, защите идейно-эстетического наследия русского просвещения XVIII века, передаче этого наследия новому поколению «борзых смельчаков и в прозе и в стихах».

Прежде всего борьба шла с пониманием роли поэта, культивируемым Карамзиным. Всем своим творчеством Радищев показывал, что поэт не должен избегать больших общественных, исторических, политических и социальных проблем. Он, как истинный гражданин, вторгся в самую гущу жизни, его внимание привлекали насущные вопросы политического и социального бытия народов, всего человечества в целом. Он полностью подчиняет свое творчество великой и благородной цели борьбы за счастье народа. Верящий в творческую силу человека, Радищев поэтом в своих стихах подвергает суду современность и историю, ибо он знает, что существующий политический режим можно изменить, что все это во власти человека, народа. Вот отчего поэзия Радищева в этот период носит ярко выраженный гражданский,

общественный характер. Радищеву чужда мысль Карамзина писать стихи для услаждения, для избранного круга друзей, для немногих, чужда позиция вождей школы, выразившаяся, в частности, в демонстративном названии сборников своих стихов: «Мои безделки» (Карамзин), «И мои безделки» (Дмитриев). Так, в новых исторических условиях в самом начале XIX века Радищев подвинул знамя гражданской поэзии, потребовал от поэта быть гражданином и патриотом, отвергнув идеал поэта, созданный сентиментализмом, — идеал частного человека.

В огромной по замыслу поэме «Песнь историческая» Радищев прослеживает историю человечества, внимательно рассматривает деятельность римских императоров, подвергая ее строгой оценке и суду. Оценивая различные формы политического правления, он показывает современникам, какие уроки надо из этого извлекать. Вот как это делает поэт. Описывая смерть одного из тиранов и приход нового, либерального императора, Радищев делает вывод:

Ах, сия ли участь смертных,
Что и казнь тирана люта
Не спасает их от бедствий;
Коль мучительство нагнуло
Во ярем высоку выю,
То что нужды, кто им правит;
Вождь падет, лицо сменится,
Но ярем, ярем пребудет.
И, как будто бы в насмешку

Роду смертных, тиран новый
Будет благ и будет кроток;
Но надолго ль — на мгновенье;
А потом он, усугубя
Ярость лютой и злобы,
Он изрыгнет ад всем в души.

Таков пример истории. Радищев на примере истории учит современников: нельзя обманываться, нельзя доверять монархам даже тогда, когда они выступают кроткими, когда заигрывают с либерализмом, когда щедро раздают обещания о новых реформах.

В других стихах Радищев стремится показать путь человечества к совершенствованию. Таким стихотворением, в частности, является «Оснадцатое столетие», которым Радищев встречает новый век. Это огромное по своей философской и исторической концепции произведение, которое в известной мере продолжает оду «Вольность». Поэт взирает с позиций революционера на прошедшее столетие. Судьбы всего человечества, судьбы народов за сто лет — вот что в центре внимания Радищева, а не частные, интимные события жизни личности. Радищев показывает, что человечество делает новые, гигантские шаги к своей цели — «совершенствованию». Две революции пределали народы — американскую и французскую. Наука одержала ряд новых великолепнейших побед в своем борении с силами природы. Началось покорение воздуха, появился шар Монгольфье. Развитие неуклонно идет именно к конечной цели —

«совершенствованию» и «блаженству», то есть к свободе народов. Вот почему Радищев с гордостью заявляет: «Нет, ты не будешь забвенно, столетье». Оно не будет забвенно прежде всего потому, что «радостным смертным дарует истину, волю и свет, ясно созвезде вовек». И здесь, как видим, поэт вселяет надежду на неизбежность победы человека в его самоотверженной борьбе с угнетателями. Это было тем необходимым, что Радищев увидел — столетие не только «мудро», но и «безумно»; оно не только ознаменовано революциями, но и установлением таких новых общественных отношений, которые не принесли народам желаемой свободы. Видя ограниченность американской и французской буржуазных революций, Радищев не впал в пессимизм. Наоборот, оптимистическое чувство веры в возможность человека добиться в борьбе истинной свободы пронизывает это стихотворение.

Следствием постоянного интереса Радищева к истории, и в частности к истории отечества, явилась незаконченная поэма «Песни, петье на состязаниях». Поэт воспроизводит эпизод из истории древней Руси, из истории борьбы русских за свою национальную независимость. Первая песня рассказывает о борьбе русских с норманнами.

Обращаясь к только что открытому произведению русской литературы — «Слову о полку Игореве» и используя мотивы «Слова», Радищев воссоздает картины нравственной жизни народа. Приход норманнов объединил русских людей и вдох-

новил на героическое дело отстаивания независимости своего отечества. Это большое, общее дело укрепляет решимость отдельных людей бороться с врагами, открывает возможности для личности проявить свои потенциальные силы. Мужественно и самоотверженно борются люди с врагами. Отсюда Радищев делает вывод, что народ в будущем, когда он будет объединен и вдохновлен единой великой целью — достижением свободы «частной», когда он поднимется против своих поработителей — победит. Победит, ибо история учит — колоссальна, животворяща и зиждительна энергия восставшего народа. Вот почему первая песня кончается вдохновенным пророчеством о великом будущем русского народа.

Антикарамзинский характер поэтической работы Радищева с наибольшей силой проявился в лирике. Лирические стихи Радищева и Карамзина, посвященные раскрытию внутреннего мира человека, показывают, как враждебны эти писатели друг другу, с каких различных позиций они относятся к человеку.

Карамзин, опираясь на опыт своих учителей и предшественников (Кутузов и Муравьев), создал в 90-е годы идейно-эстетическую программу русского сентиментализма дворянской литературы эпохи кризиса крепостнической системы.

Именно Карамзин определил двойкий характер сентиментализма. С одной стороны, ему свойственно стремление обуздать крепостников (стремление, продиктованное страхом перед новой пугачевщиной), характерно требование уступок (пре-

жде всего в сфере моральной), необходимых для сохранения в новых условиях монархии и крепостного права, с другой стороны — борьба с передовыми идеями русских просветителей (Новиков, Фонвизин, Крылов), с идеологией революционера Радищева.

Просветители утверждали принцип сатирического изображения действительности, Карамзин же исключил сатиру из литературы. Просветители требовали от литературы изображения объективной действительности, Карамзин же утверждал, что единственной задачей писателя является «писать портрет души и сердца своего». ¹ Писатель должен быть гражданином, учили просветители. Карамзин же утверждал, что единственная обязанность писателя — заниматься собственными душевными переживаниями. Просветители создали идеал человека-гражданина, Карамзин же развивал философию частного человека, занятого только собой, лицемерно отказывающегося от земных благ во имя эгоистической морали. Карамзин писал: «...Что человеку (между нами будь сказано) занимательнее самого себя?..» ²

Мнение Добролюбова, что характерной чертой сентиментализма-карамзинизма является «самодовольное спокойствие человека, не думающего о счастье других», точно передает консервативное, а порой и откровенно реакционное содержание этого направления.

¹ Сочинения Карамзина. СПб., 1848, т. 3, стр. 371.

² Сочинения Карамзина, т. 2, стр. 790.

Просветители выступили против екатерининского правления, а Радищев — против самодержавия вообще. Карамзин же боролся за усиление монархической власти, заявив, что «самодержавие есть палладиум России». ¹ Радищев требовал отмены крепостного права. Карамзин же отстаивал его, заявив, что «главное право русского дворянина быть помещиком, главная должность его быть добрым помещиком». ² Просветители изобразили народ как творческую силу истории, показали его в литературе умным, трудолюбивым и самоотверженным в борьбе за независимость своей родины, Радищев показал свободолюбие русского народа, предсказал ему светлое будущее, когда он революционно преобразит Россию; Карамзин же клеветнически утверждал, что народ любит рабство и без принуждения доброго помещика не умеет трудиться, ибо «ленив от природы». ³

Но художественные произведения Карамзина безусловно шире его консервативных антидемократических убеждений. «Письма русского путешественника» содержали много полезных сведений о культуре и быте народов Европы, в них выражалось гневное осуждение религиозного фанатизма. Еще большее значение имели повести Карамзина — «Бедная Лиза», «Фрол Силин», «Юлия» и др. и его лирика. Несмотря на дворянскую ограниченность социальных и этических

¹ Н. М. Карамзин. Записка о древней и новой России. СПб., 1914, стр. 126.

² Сочинения Карамзина, т. 3, стр. 580.

³ Там же, стр. 573.

идеалов Карамзина, его художественные произведения играли известную положительную роль в литературном развитии. Карамзин-художник утверждал, что «и крестьянки любить умеют», и тем пропагандировал идею морального равенства дворян и крестьян. В эпоху крушения феодализма и сословной идеологии даже такая бесконечно ограниченная и кудая программа (моральное равенство), найдя свое выражение в художественных образах, объективно помогала рождению новых взглядов. Повести и стихи Карамзина в конечном счете учили ценить не сословную принадлежность своих героев, а их внутренний мир, их способность чувствовать. Творчество Карамзина открывало новые по сравнению с классицизмом возможности в искусстве изображения человека, его психологии. Вот почему на этой основе оказалось возможным появление творчества Жуковского, чьи поэтические достижения были развиты и Пушкиным.

Итак, Радищев и Карамзин (а, следовательно, и ученики последнего) стоят на противоположных идейно-эстетических позициях. Для того чтобы увидеть, как эта враждебность нашла свое выражение в лирике, обратимся к стихам Карамзина, Муравьева, Жуковского, с одной стороны, и к стихам Радищева — с другой. Из сопоставления станет ясно, что существующая точка зрения, будто бы тема человека, тема личности, столь важная для Пушкина, берет свое начало от русского сентиментализма, и в частности от Карамзина и Жуковского, — глубоко несправедлива, что пушкинское и декабристское понимание человека не карам-

зинское. В самом деле — каков идеал человека, созданный сентименталистами? какие чувства личности нашли у них свое поэтическое выражение?

Человек, выступивший в субъективистской лирике карамзинизма, есть человек частный, взятый в интимном мире своих чувствований, убежавший из мира социальной жизни. Он проповедует отказ от какого-либо вмешательства в общественно-политическую жизнь. Этому человеку свойственно равнодушие к судьбам окружающих его людей (см., например, стихотворение Карамзина «Послание И. И. Дмитриеву»).

Так, эта лирика оказывается лирикой, проповедующей смирение, терпение и пренебрежение к страданиям и бедствиям, которые обрушиваются на человека в крепостническом государстве. При низив человека, подчеркнув его слабость, беспомощность в земной жизни, уведя его из общества и погрузив в спасительное уединение, сделав его «единственным», они стали изображать те чувствования, которые делали его счастливым в знаменитом «наслаждающем размышлении самого себя» (как это сформулировал Муравьев). Какие же это чувствования? Прежде всего чувство любви и дружбы. Этим определялся и характер жанра, который они культивировали, — элегия, дружеское послание, письмо к другу, отрывки, в которых фиксировалось мгновенное, минутное «бытие сердца». Общий характер чувствований человека в лирике сентиментализма — трагический. Человек чувствует себя ужасно неуютно на земле. Он оди-

нок, все в этой жизни — и люди и общественные отношения — ему враждебно. Но к этому и без того трагическому восприятию жизни добавлялось новое: перед человеком вставала роковая проблема — неизбежность смерти. Вот он, осознающая себя индивидуальность, способная к богатому и тонкому чувству личностно неповторимое «я», постигающий мир человек, должен умереть. Так возникает тема смерти, как одна из ведущих тем в лирике сентиментализма, романтизма.

Мысль о смерти вызывает у героя лирических стихов чувство страха. Он полон смятения, смерть для него — утрата его «единственности». Он ведь пытался себя в чем-то утвердить, но в чем? В любви и дружбе. Но вдруг оказывается, что очень непрочны и зыбки связи этой личности с миром: любимая может умереть, или друг может покинуть. Оказывается, ничто одинокого человека не удерживает на земле. Так стало возникать упование на бога. На помощь приходила религия, в лирику вторглась религиозная, мистическая идея загробного существования, бессмертия души.

Для Жуковского, так же как и для Карамзина, смерть — избавительница от мук земных, от вечного страдания. Для него человек не хозяин жизни, а жертва. В стихотворении с характерным названием «Путешественник» провозглашается тезис: «Там в нетленности небесной все земное обретешь».

Вот эта философия частного человека, эти мотивы бегства из земной жизни и породили в 10-

годы XIX века обильный стиховой поток элегий, в которых доказывалось, что жизнь есть приготовление к смерти, что смерть лучше жизни, что единственное счастье человека есть счастье любви, что только это связывает его с людьми. С этой поэзией и повели бой декабристы и Пушкин. Это именно то, что им приходилось преодолевать, отстаивая принципы гражданской поэзии, воплощая в стихах другую философию человека, которая продолжала традиции Ломоносова, Державина, Радищева. Начал же эту борьбу Радищев.

Белинский в первых статьях пушкинского цикла подробно остановился на литературе предшествовавшего, так называемого карамзинского периода. Рассмотрел он и лирическую поэзию Жуковского, наследника и восприемника Карамзина. Проанализировав, в частности, балладу «Теон и Эскин», он пришел к выводу, что «на это стихотворение можно смотреть как на программу всей поэзии Жуковского, как на изложение основных принципов ее содержания». И эта программа и эти основные принципы были отвергнуты критиком, как чуждые национальной традиции, освободительному движению, демократическим идеалам передовой русской литературы.

«Законно и праведно требование человека на личное счастье; разумно и естественно его стремление к личному счастью; но в одном ли сердце должен заключаться весь мир его счастья?»¹

¹ В. Белинский. Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 271.

В последующих статьях Белинский показал, как далеки были эти идеалы, это понимание человеческой жизни, эта философия человека Пушкину. Обобщая опыт русской литературы, тесно связанной с освободительным движением, опыт Пушкина и декабристов, Грибоедова и Крылова, Гогаля и Лермонтова, Белинский писал: «Есть для человека и еще великий мир жизни, кроме внутреннего мира сердца — мир исторического созерцания и общественной деятельности, — тот великий мир, где мысль становится делом, а высокое чувствование — подвигом, — и где два противоположные берега жизни — *здесь и там* — сливаются в одно реальное небо исторического прогресса, исторического бессмертия... Это мир непрерывной работы, нескончаемого делания и становления, мир вечной борьбы будущего с прошедшим».¹

Это было сказано именно как обобщение богатого опыта передовой русской литературы в ее изображении такой жизни человека, которая мерилась мерой его общественной, патриотической, революционной деятельности. Историческая заслуга Радищева в том и состоит, что в своих философских и прозаических сочинениях он сформулировал эту меру впервые, а в своей лирике первым раскрыл обаятельную жизнь сердца человека, занятую мужественной и практической работой во имя свободы народа. Господствующей дворянской литературе Радищев противопоставил национально-

русский и подлинно-демократический идеал человека. Этот идеал начал складываться еще в русской просветительной литературе во второй половине XVIII века: свое природное величие человек может утвердить только в патриотической деятельности и в социальной борьбе. Человек не только чувствующее существо, но и общественное, деятельное, творящее и преобразующее мир.

Радищев в своих сочинениях «Житие Ушакова», «Путешествие из Петербурга в Москву», и в особенности в работе «О человеке, о его смертности и бессмертии», подвел итог учению русских просветителей о человеке. Он подошел к этой проблеме как революционер. Поэтому для него наивысшая патриотическая деятельность есть деятельность революционная. Радищевский человек — это деятель нового типа, борец, «прорицатель волености». В сочинении «О человеке, о его смертности и бессмертии» он широко и последовательно развил русское понимание взаимоотношений человека и общества, определил национально-русскую меру цены человека. Главное в этом произведении то, что впервые в теоретическую разработку коренных проблем материализма Радищевым вносилась революционная идея, выдвинутые вопросы решались с революционных позиций. Этим радищевский материализм отличался от материализма Гельвеция и Гольбаха, бывших, как известно, сторонниками мирных путей социального преобразования, возлагавших надежды на просвещенного монарха.

Революционер Радищев внес новое в развитие

¹ В. Белинский. Полное собрание сочинений, т. XI, стр. 272.

материализма потому, что признал не только зависимость человека от окружающих его обстоятельств, но и право человека и, главное, возможность изменений этих обстоятельств насильственным путем, изменения собственными силами. Отсюда учение Радищева об активном, общественном человеке, о творящей и преобразующей силе народа, о деятельности общественно-полезной, патриотической и революционной как условия развития личности. Такая постановка вопроса о человеке делала данное сочинение Радищева боевым произведением русской эстетической мысли.

Радищевские художественные сочинения — прозаические и поэтические, — его теоретическая работа донесли до писателей нового, XIX века такое понимание человека, помогли формированию положительного героя в жизни и литературе эпохи декабризма.

Уже в первом после оды «Вольность» стихотворении, написанном по пути в илимскую ссылку, Радищев точно определил свое понимание человека. Стихотворение было автобиографическим. Опираясь на опыт своей революционной борьбы, поэт на пути в ссылку заявлял:

Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду? —
Я тот же, что и был, и буду весь мой век:
Не скот, не дерево, не раб, но человек!
Дорогу проложить, где не бывало следу,
Для борзых смельчаков и в прозе и в стихах,
Чувствительным сердцам и истине я в страхе
В острог Илимский еду.

Здесь обаятельный мир души революционера, притягательная и покоряющая сила его чувств проявились в мужестве личности, в светлой и неукротимой вере в правоту своего дела, своего подвига, понимания нужности его народу, в прекрасной гордости, что именно им открыт путь, по которому пойдут «борзые смельчаки» — его последователи, его продолжатели. Жизнь этого человека оказывалась безбрежно широкой, — ссыльный, гонимый самодержавием человек, только что переживший пытку смертью (целый месяц сидел Радищев в Петропавловской крепости в ожидании приведения в исполнение вынесенного ему смертного приговора), лишенный власти каких-либо надежд на будущее, жестоко определенный «на десятилетнее безысходное пребывание в Илимском остроге», он преодолевал условность навязанных ему обстоятельств и продолжал деятельно жить и сегодняшним и завтрашним днем.

Во всех последующих стихах Радищев пел хвалу человеку, раскрывал его величие, его могущество, его способность творить, создавать и переделывать мир.

О человек, творение чудесно!
Творенье брениое, о царь земли!
Ты слаб, ты червь, ты мал,
Пылинка ты в сравнении всего;
Но силен, но велик умом.
Ты мыслию божествен,
Зигдитель и творец!

Стихотворение «Осмнадцатое столетие» на примере истории показывало эту творческую энзиматическую силу человека. Здесь же с замечательным мастерством раскрыт источник этой силы — связь личности с обществом, человека с народом. Великие достижения XVIII века переданы поэтом в образе единства человеческих усилий. «Немощны, слабы, расслаблены во единице, едва не всемогущими стали в сообщении, творящий чудеса яко боги», — писал Радищев в одном из своих философских сочинений. В лирике эта мысль была воплощена поэтически. Эпиграфом к ней могут быть поставлены такие радищевские слова о человеке: «Блажен в общественном союзе, блажен и в твоей единственности».

Вот почему вся лирика Радищева объективно носила воинствующе-антикарамзинский характер, показывая в то же время, как губельна для человека философия единственности. Вот почему трагическому восприятию жизни, отчаянию и тоске Радищев противопоставляет мужество, веру в жизнь, оптимистическую надежду, радость бытия. Так появляются у него жанры, внешне близкие к карамзинской лирике, но наполненные иным содержанием, похожие темы, но решенные с противоположных идейных позиций. Радищевские стихотворения «Почто, мой друг» и ода «К другу моему» — это типические дружеские послания. Стихотворение «Журавли» — типичная элегия. В них раскрывалось тайное тайных человека, заповедный мир интимных чувствований, глубокая и содержательная жизнь сердца. В этих стихах нет боль-

ших социальных и политических идей, таких, как в оде «Вольность», «Осмнадцатом столетии», в «Песне исторической». И в то же время они носят глубоко общественный, гуманистический и, в конечном счете, революционный характер, ибо исполнены пафоса утверждения веры в человека, ибо раскрывают его духовные богатства, ибо полны притягательной красоты чувств личности, утверждающей себя в деятельности, в борьбе, в любви к жизни, в мужественном преодолении жизненных бед, испытаний и несчасть.

Радищев прямо обрушивается на тех, кто, подобно карамзинистам, представляет жизнь как страдание, как муку, как бесконечные стенания. «Почто безвременно печалью дух крушится? Ты бедствен не один». У человека есть нечто большее, чем его личные сердечные страдания, — его широкие связи с миром общественным: «Дела твои с тобой, душа твоя с тобою, престань стенать». В исполнении своего долга человек находит нравственную опору: «А если твоего сна совесть не тревожит и память прежних дел печаль твою не множит, то верь, что всем бедам уж близок стал конец». И, наконец, вывод: «Мужайся и будь тверд, с тобой пребуду я».

Строй чувств радищевского героя великолепно передан в элегии «Журавли». Улетают журавли. Один из них, подбитый охотником, начинает отставать. Он останавливается. «Подлые братья смеялись над ним». Но потом все улетают, и он остается один. Он борется за жизнь и, медленно передвигаясь, преодолевая все препятствия,

все-таки достигает цели. История этого журавля выливается в гимн мужеству:

О вы, стелющиеся под тяжкою рукою

Злосчастия и бед!

Исполнены тоскою,

Клянете жизнь и свет;

Любители добра, ужель надежды нет?

Мужайтесь, бодрствуйте и смело протекайте

Сей краткой жизни путь. На он-пол

поспешайте:

Там лучшая страна, там мир вовек живет,

Там юность вечная, блаженство там вас

ждет.

Стихотворение «Ода к другу моему» посвящено такой больной для карамзинизма теме, как отношение человека к смерти. По форме это послание другу. Смятена и удручена мыслью о смерти душа друга. К нему и обращены слова Радищева, но не слова утешения, ложной надежды, упования на бессмертие, а слова мужественной и суровой правды. Человек смертен, говорит поэт, и ты, мой друг, умрешь, «оставишь дом, друзей, супругу». Не услаждай же себя бесплодными мечтаниями и напрасной мольбой — «не мни, чтоб смерть своей косою тебя в полете миновала». Таков закон жизни — закон мудрый и животворящий. В стихотворении «Почто, мой друг» Радищев, прямо излагая главную мысль своего философского сочинения «О человеке, о его смертности и бессмертии», писал: закон неизбежный — «чтоб обновление из недр перемен реждалось, чтоб всё крушением в

природе обновлялось, чтоб смерть давала жизнь и жизнь давала смерть».

Но уверив друга своего в смертности человека, Радищев не впадает в отчаяние. И в этом-то прежде всего сказалась новизна мировоззрения Радищева, новаторство его лирики. Радищевский лирический герой не «единственник». Он тысячами нитей связан с жизнью, с людьми. Он живет не только жизнью сердца, но жизнью деятельной, общественной. Именно потому он тверд перед лицом смерти, ему чужда мистическая вера в загробное существование, с жизнью будущей его связывает действительность, осуществляемая им сегодня.

Смело и чуть иронически говорит поэт: «почто стелити под пятой сует, желаний и забот?» Долой печаль! «Мы жало скуки преломим». Человек рожден на радость, а не на страдание, — «Бедру весельем препояшем, исполним радости сосуд!» Та же мысль раскрыта и в другом стихотворении: «Печаль и веселье претворится, оружием радости вся горечь низложится, на крыльях радости умчится скорбь твоя».

Лирика Радищева учила, что человек — властелин своей судьбы. Он сохраняет величие свое, пока исполняет долг, пока каждое дыхание свое отдает делу «прорицания вольности», пока добродетель его, рожденная в борьбе, торжествует, творя победу над врагами, мучителями, обстоятельствами. Смерти гражданин не мог бояться. Для него нет божьего суда, которого надо трепетать, он сам творит свой строгий суд при жизни. Он не станет испуганно рыдать в страхе за утрату своей

«единственности». Его личность в мыслях и делах, а они бессмертны. Так писал Радищев и, главное, так жил. Его не ждало небесное блаженство и загробное существование. Оттого поразительны по своему мужественному спокойствию его последние стихи. «Ода другу моему» — это предпушкинский гимн жизнелюбию и мудрому спокойствию перед лицом великой неизбежности.

Только жизнелюбец, только русский человек, только мыслитель, чуждый религиозных верований и мистических спекуляций, только свободолюбец, верящий в будущее своего народа и отечества, только революционер, знающий, что начатая им борьба будет продолжена и доведена до победы, до торжества будущими поколениями, мог так спокойно и так веруя в торжество земной жизни, писать:

Ты мертв; но дом не опустеет.

Из сказанного ясно, какое огромное общественное значение имела лирика Радищева. Она создавалась, когда в поэзии торжествовал карамзинизм. Она была опубликована в 1807 году, в первом томе «Собрания оставшихся сочинений покойного А. Н. Радищева», когда развернулась деятельность Жуковского. Она оказалась противостоящей господствующему направлению дворянской литературы. С середины 10-х годов гегемония этой школы будет поколеблена, в литературу придут Пушкин и декабристы. Живой связью между русским просвещением XVIII века и декабризмом в первом десятилетии XIX века была поэтическая

работа Радищева, так же как и поэтическая работа Крылова.

Между тем до сегодняшнего дня значение поэзии Радищева (может быть, за исключением оды «Вольность») для декабристов и особенно Пушкина недооценивается. Начало поэтической деятельности Пушкина обычно связывается почти целиком с Жуковским. В действительности связи Пушкина с национальной традицией были куда более широкими. Даже в период ранней юности (эпоха лицей) увлечение поэзией Жуковского и Батюшкова не было единственным и определяющим. Поэт сумел тогда же найти и Державина, и Майкова, и Радищева, и попытаться пойти им вслед («Воспоминания в Царском селе», поэма «Бова» и др.). Множество ранних стихотворений Пушкина свидетельствуют с несомненностью, что юный поэт учился у своих старших современников — Жуковского и Батюшкова. Он усвоил их образ поэта — «счастливого ленивца», «певца любви, певца своей печали»; вслед за ними он воспевает дружбу, негу, наслаждение, делая героем стихов частного человека, живущего интересами своего сердца. При этом многие темы лицейских стихов — типа страданий от неразделенной любви, желаний смерти и т. д. — были всего лишь талантливым пересказом традиционных тем своих учителей. Отсюда их книжность, условность у шестнадцатилетнего юноши, влюбленного в жизнь.

Как свидетельствует творчество Пушкина, влияние это было, но было оно недолгим, и не определяющим, — к 1817 году относится ода

«Вольность», в которой поэт декларирует отказ от «изнеженной лиры» и желание следовать гражданской поэзии, интерес к которой выявился уже в лирике. Пушкин как бы вернулся вновь к Радищеву, потому и назвал свое стихотворение именем его революционной оды. Именно вернулся. Первый том сочинений Радищева, вышедший в 1807 году с его стихами, уже в 1814 году был прочтен поэтом. Сатирическая поэма «Бова» писалась под влиянием радищевской «Бовы» («Петь я вознамерился; но сравняюсь ли с Радищевым»). С 1817 года до конца жизни Пушкин помнил Радищева, читал и перечитывал его, спорил с ним, высоко оценивал его стихи, а в «Памятнике», оглядывая свой путь поэта, точно определил свою связь именно с этой национальной традицией: «Во след Радищеву восславил я свободу».

Эта преемственность очевидна, и она обычно отмечается. Но отмечается лишь в плане соотношений идей, высказанных в «Путешествии» прежде всего. Поэтическая же практика Радищева при этом не принимается в расчет. В то же время, несомненно, лирика Радищева, раскрывавшая обаятельный внутренний мир человека-революционера, патриота и деятеля, помогала Пушкину преодолевать философию частного человека, живущего только жизнью своего сердца, отказываться от определения роли поэта как «певца своей печали» и т. д. Движение Пушкина, условно выражаясь, от Жуковского к Радищеву, в ранний период его творчества, декларативно и обнаженно проявилось в переходе поэта к темам политиче-

ским. «Изнеженная лира» разбита, восторжествовала «гроза царей — свободы гордая певица». Но не менее отчетливым было движение и в собственно лирических стихотворениях, в которых раскрывалось новое понимание человека. Остановимся хотя бы на одном, таком характерном для Жуковского мотиве, как отношение к смерти.

В первые годы своего творчества Пушкиным написано немало стихотворений, где, вслед за Жуковским, смерть прославлялась как избавительница от земных страданий («Мое завещание», «Кривцову» и др.). Весь строй этих стихов, внешне совпадая со стихами Жуковского и Карамзина, внутренне оказывался им враждебен. Поэт пишет на заданную тему, но не выражает состояния собственной души. Пушкинскому жизнелюбию чужда нелепая идея — смерть лучше жизни. И этот внутренний протест опрокидывает философию пессимизма и отчаяния. Карамзин и Жуковский серьезно учили: человек найдет полное отдохновение от земных страданий после смерти, за гробом его ждет блаженство. Пушкин отбрасывает мистическую идею загробного существования, но оставляет метафору: после смерти — новая и лучшая жизнь. А идеал этой жизни определили те же Карамзин и Жуковский — как счастье любви и дружбы, наслаждение. И вот поэт дерзко описывает будущую загробную жизнь как сплошной пир, как веселье, как торжество любви и дружбы. Оттого стихи о смерти у Пушкина, может быть, самые веселые и жизнерадостные стихи его юности (см., например, послание «Кривцову»).

В 1825 году написано стихотворение «19 октября». Это обращение к друзьям, это глубокая дума о жизни, о прошлом, о будущем. Давно Пушкин стал вождем молодой России, певцом свободы, а его поэтический голос стал «эхом русского народа». Именно потому восторжествовало в этом стихотворении и радищевское решение старой темы. Без смятения и ужаса говорит он о смерти милых друзей, о редющем круге, о приближении конца. Голос его спокоен, чувство его печально, но печаль эта прозрачна и чиста:

Увы, наш круг час от часу редет,
Кто в гробе спит, кто, дальный, сиротеет;
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и клдея,
Мы близимся к началу своему...

И вслед за Радищевым поэт, так мужественно и просто взглянувший в лицо смерти, дерзко отгоняет печаль, провозглашая: «Пируйте же, пока еще мы тут!»

С годами все сильнее, все отчетливее проявлялась эта радищевская «струя» в поэзии Пушкина.

То же радищевское чувство полноты жизни, полноты особой, рождающейся только в душе человека, занятого деятельным приготовлением будущего, той полноты, которая появляется у человека, умеющего в сегодняшнем дне жить днем завтрашним, им завоеванным, проявляется с могучей силой в стихах — «Здравствуй племя младое, незнакомое».

Вот почему Пушкин, мысль которого была делом, а высокое чувство — подвигом, писал о себе: «Нет, весь я не умру». Для него «здесь» и «там» сливалось, говоря словами Белинского, в одно реальное небо исторического прогресса и исторического бессмертия. И опять нельзя не вспомнить, что Радищев в оде «Вольность» первым выразил это высокое счастье личности, которое определялось и чувством удовлетворения своей деятельностью и сознанием, что твое дело революционера, твоя борьба будут подхвачены, послужат потомкам. «Да, холодный прах мой осенится величием, что днесь я пел»; да, потомки вспомнят его добрым словом и скажут о нем: ведь это он «нам вольность первый проричал».

Говоря о радищевской интонации в пушкинской лирике, о радищевской «струе», о торжестве радищевского понимания человека, не должно сводить весь вопрос к влиянию. Несомненен факт отличного знания Пушкиным сочинений Радищева, и в частности его стихов. Несомненно и воздействие их на поэта. Но дело не только в этом. Радищевской должно называть эту линию в поэзии Пушкина, эту интонацию потому, что Радищев первым в своих сочинениях — и в прозе и в стихах — выразил этот пушкинский идеал человека, более того — первым выявил национальную обусловленность этой философии, этого идеала личности, этого строя чувств, этого нравственного кодекса.

Движение Пушкина от увлечения Жуковским в лицейский период к Радищеву, усвоение радищевских

идейно-эстетических достижений есть один из моментов общего, неодолимого движения гениального поэта к народности, к раскрытию национального духа русского народа, к поэтическому воплощению «тайны национальности». В этом великом движении Пушкина к реализму и народности поэт не мог не опираться на опыт того, кто первым начал прокладывать дерзновенный новый путь в поэзии и прозе.

Естественно, на этом пути не все удавалось Радищеву. Прежде всего на его стихах лежит печать исторической ограниченности, свойственной и стихам Державина, и стихам Карамзина, и стихам Жуковского, — всем поэтам до Пушкина, который гениальным художественным даром, как указывал Белинский, поднял на новый, небывало высокий уровень русское стихотворство.

Свойственны были радищевской лирике и особенности, пронскавшие из индивидуальной манеры автора. Пафосом его поэзии была мысль. Радищеву философу и политику важно было передать всю новизну, всю сложность рождавшейся революционной мысли. Это определило словарь стиха, он был насыщен словами и терминами, передававшими философскую проблематику, социальные и политические теории, события и понятия, научные открытия и картину прогресса человеческого общества. Таковы, например, стихи «Оснадцатое столетие»: «О незабвенно столетие! Радостным смертным даруешь истину, вольность и свет, ясно созвездье вовек», или «Даже летучи пары ты заключило в ярем, молнией небесну сма-

нило во узы железны на землю», или «Из недр густейшей мглы, смертообразна сна, возобновленную жизнь земле несет она», и т. д.

Используя опыт научной поэзии Ломоносова, Радищев расширил выразительные возможности стиха, завещая будущим поэтам смело прибегать к поэзии для передачи и воплощения человеческих чувств и мыслей во всей их сложности, соответствующей сложности общественной роли человека, хозяина мира, творца жизни. Но нередко поэтическое воплощение мысли подменялось логической ее формулировкой. Стих утрачивал легкость, художественную ясность, выразительность и простоту, а подчас и самую поэтичность.

В стихотворениях 1790—1800-х годов Радищев продолжал применять свой метод, раскрытый в оде «Вольность», — негладкость стиха должна была служить изобразительным выражением трудности действия, сложности мысли. Отсюда обилие инверсий, синтаксическая затрудненность, насыщенные речи славянизмами, устарелыми оборотами, усеченными, неполными формами слов и т. д. Эта затрудненность, как правило, оправдывавшая себя в «Вольности», в «Оснадцатом столетии», — явно мешала в лирических стихах. В самом деле, нельзя было говорить о юности, с ее смелыми желаниями, презрением к смерти, жаждой деятельности и счастья, такими, например, стихами:

Твой поступь был непреткновен,
Гордящаяся глава вздымалась;

В желаньях ты непречерчен,
Твоим скорбь взором развевалась
Яко прах.

Подбор слов «поступь», «непреткнувен», «гор-
дящаяся глава», «непречерчен» и т. д., инверси-
онный оборот «твоим скорбь взором развевалась
яко прах» — отяжелели стих, лишили его поэти-
ческой ясности, затемняли смысл образа. Исполь-
зование славянизмов в политической оде, где они
были нагружены новым, «высоким» содержи-
мом, — бесспорная заслуга Радищева. Однако нагне-
тение славянизмов в лирических стихотворениях
явно не оправдывало себя. Скопление таких слов,
как «протек», «прах», «глава», «женёт», «яко»,
«око», «чело», «тыл» и т. д., в стихотворении
«Ода другу моему», которое должно было пере-
дать мужественное и мудрое чувство русского че-
ловека перед лицом смерти, — явно вступало в
противоречие с замыслом поэта.

Следует в то же время сказать, что когда Ра-
дищев отступал от этого принципа, он немедленно
одерживал замечательные победы. Вот строки, пол-
ные изобразительной силы и живописного мастер-
ства в создании образа осени:

Осень листья ошипала с дерев,
Иней седой на траву упадал
и т. д.

Радищев стремился к лаконизму, афористической
четкости стиха. При этом большая и новая мысль
находила свое выражение в ясном, звучном и гар-
моничном стихе. Например:

И память прежних дел печаль твою не
множит

или:

Дела твои с тобой, душа твоя с тобой

или:

Будь блажен, если ты можешь только
Быть без любви

или уже приводившаяся ранее строка:

Ты мертв; но дом не опустеет.

Подобные стихи принадлежали будущему, они
шли навстречу Пушкину. Радищев был из числа
тех замечательных людей, о которых поэт писал,
что они всегда «устраиваются от проложенных сте-
зей и вдаются в неизвестные и непроложенные.
Деятельность есть знаменующая их отличность и
в них то сродное человеку беспокойствие стано-
вится явно. Беспокойствие, произведшее все, что
есть изящное, и все уродливое, касающееся обоюд-
но до пределов даже невозможного».¹

Писатель-новатор, Радищев всюду — и в прозе,
и в философии, и в поэзии — пролагал новые
стези, вдавался в области неизвестные, смело
искал и находил нужное. «Нововводителем в ду-
ше» — так называл Пушкин Радищева-поэта. Нова-
тора, нововводителя, смело пролагавшего пути
развития русской поэзии, и ценил в Радищеве

¹ А. Н. Радищев. Избранные сочинения. ГИХЛ,
1952, стр. 33.

основоположник новой русской литературы — Пушкин.

Советская литература наследует колоссальные богатства русского реализма, использует их как свое испытанное и до сих пор грозное оружие, учится у него высокому искусству художественного воплощения передовых идеалов. А у русского реализма существует своя богатая и славная родословная, — он освоил и воспринял все лучшее из созданного русским народом в письменности и устном творчестве. Литература XVIII века и творчество просветителей прежде всего — с одной стороны, народная песня, сказка, пословица — с другой, — все это стоит у колыбели русского реализма. Но особая роль в подготовке будущего мощного расцвета родной литературы выпала на долю Радищева. Его революционные убеждения определили небывалое дотоле содержание и качество его эстетики. Он открывает новую страницу в истории русской литературы, он является основоположником новых, плодотворных, органически русских традиций. Его творчество, прорвав «громаду лет», потому живо и бессмертно, близко и дорого нам, его «поздним потомкам».

Г. Макогоненко

СТИХОТВОРЕНИЯ

ВОЛЬНОСТЬ

Ода

1

☉ дар небес благословенный,
Источник всех великих дел,
О вольность, вольность, дар бесценный!
Позволь, чтоб раб тебя воспел.
Исполни сердце твоим жаром,
В нем сильных мышц твоих ударом
Во свет рабства тьму претвори.
Да Брут и Тель еще проснутся,
Седяй во власти да смятутся
От гласа твоего цари.

2

Я в свет исшел, и ты со мною;
На мышцах нет моих заклеп;
Свободною могу рукою
Прияти данный в пищу хлеб.
Стопы несу, где мне приятно;
Тому внимаю, что мне понятно;

Вещаю то, что мыслю я.
Любить могу и быть любимым;
Творя добро, могу быть чтимым;
Закон мой — воля есть моя.

3

Но что ж претит моей свободе?
Желаньям зрю везде предел;
Возникла обща власть в народе,
Соборный всех властей удел.
Ей общество во всем послушно,
Повсюду с ней единодушно;
Для пользы общей нет препон.
Во власти всех своей зрю долю,
Свою творю, творя всех волю:
Вот что есть в обществе закон.

4

В середине злачныя долины,
Среди тягченных жатвой нив,
Где нежны процветают кривы,
Средь мирных под сеньми олив,
Паросска мрамора белее,
Яснейша дня лучей светлее,
Стоит прозрачный всюду храм;
Там жертва лжива не курится;
Там надпись пламенная зрится:
«Конец невинности бедам».

5

Оливной ветвию венчанно,
На твердом камени седяй,
Безжалостно и хладноравно,
Глухое божество, судяй,
Белее снега во хламиде,
И в неизменном всегда виде;
Зерцало, меч, весы пред ним.
Тут истина стрежет десную,
Тут правосудие — ошую:
Се храм Закона ясно зрим.

6

Возводит строгие зеницы,
Льет радость, трепет вокруг себя,
Равно на все взирает лица,
Ни ненавдя, ни любя;
Он лести чужд, лицеприятства,
Породы, знатности, богатства,
Гнушаясь жертвенныя тли;
Родства не знает, ни приязни,
Равно делит и мзду и казни,
Он образ божий на земли.

7

И се чудовище ужасно,
Как гидра, сто имея глав,
Умильно и в слезах всечасно,

Но полны челюсти отрав,
Земные власти попирает,
Главою неба досязает,
«Его отчизна там», — гласит.
Призраки, тьму повсюду сеет,
Обманывать и льстить умеет
И слепо верить всем велит.

8

Покрывши разум темнотою
И всюду вея ползкий яд,
Троякою обнес стеною
Чувствительность природы чад;
Повлек в ярем порабоженья,
Облек их в броню заблужденья,
Бояться истины велел.
«Закон се божий», — царь вещает;
«Обман святой, — мудрец взывает, —
Народ давить что избрал».

9

Воззрим мы в области обширны,
Где тусклый трон стоит рабства.
Градские власти там все мирны,
В царе зря образ божества.
Власть царска веру сохраняет,
Власть царску вера утверждает;
Союзно общество гнетут;
Одно сковать рассудок тщится,
Другое волю стерть стремится;
«На пользу общую», — рекут.

Покая рабского под сенью
Плодов златых не возрастет;
Где всё ума претит стремленье,
Великость там не прозябет.
Там нивы запустеют тучны,
Коса и серп там несподручны,
В сохе уснет ленивый вол,
Блестящий меч померкнет славы,
Минервин храм стал обветшалый,
Коварства сеть простерлась в дол.

11

Чело надменное вознесши,
Схватив железный скипетр, царь,
На громком троне властно севши,
В народе зрит лишь подлу тварь.
Живот и смерть в руке имея:
«По воле, — рек, — шажу злодея;
Я властною могу дарить;
Где я смеюсь, там всё смеется;
Нахмурюсь грозно, всё смятется;
Живешь тогда, вею коль жить».

12

И мы внимаем хладнокровно,
Как крови нашей алчный гад,
Ругаяся всегда бесспорно,
В веселы дни нам сеет ад.

Вокруг престола все надменно
Стоят коленопреклоненно.
Но мститель, трепещи, грядет.
Он молвит, вольность прорицая, —
И се, молва от край до края,
Глася свободу, протечет.

13

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает,
В различных видах смерть летает
Над гордою главою паря.
Ликуйте, склепанны народы!
Се право мщенье природы
На плаху возвело царя.

14

И ноши се завесу лживой
Со треском мощно разодрал,
Кичливой власти и строптивой
Огромный истукан поправ,
Сковав сторучна исполина,
Влечет его, как гражданина,
К престолу, где народ воссел:
«Преступник власти мною данной!
Вещай, злодей, мною венчанный,
Против меня восстать как смел?»

82

15

Тебя облек я во порфиру
Равенство в обществе блюсти,
Вдовицу призирать и сиру,
От бед невинность чтоб спасти;
Отцом ей быть чадолюбивым;
Но мстителем непримиримым
Пороку, лже и клевете;
Заслуги честью награждати,
Устройством зло предупреждати,
Хранити нравы в чистоте.

16

Покрыв я море кораблями,
Устроил пристани в брегах,
Дабы сокровища торгами
Текли с избытком в городах;
Златая жатва чтоб бесслезна
Была оратаю полезна;
Он мог вещать бы за сохой:
«Бразды своей я не наемник,
На пажитях своих не пленник,
Я благоденствую тобой.

17

Своих кровей я без пощады
Гремящую воздвигнул рать;
Я медны изваял громады,
Злодеев внешних чтоб карать;

83

*

Тебе велел повиноваться,
С тобою к славе устремляться;
Для пользы всех мне можно всё.
Земные недра раздираю,
Металла блестящий извлекаю
На украшение твое.

18

Но ты, забыв мне клятву данну,
Забыв, что я избрал тебя
Себе в утеху быть венчанну,
Возмнил, что ты господь — не я;
Мечом мой расторг уставы,
Безгласными поверг все правы,
Стыдиться истине велел;
Расчистил мерзостям дорогу,
Взывать стал не ко мне, но к богу,
А мной гнушаться восхотел.

19

Кровавым потом доставая
Плод, кой я в пищу насадил,
С тобою крохи разделяя,
Своей натуги не щадил;
Тебе сокровищей всех мало!
На что ж, скажи, их недостало,
Что рубище с меня сорвал?
Дарить любимца, полна лести!
Жену, чуждающую чести!
Иль злато богом ты признал?

84

20

В отличность знак изобретенный
Ты начал наглости дарить;
В злодея меч мой изощренный
Ты стал невинности сулить;
Сгруженные полки в защиту
На брань ведешь ли знамениту
За человечество карать?
В кровавых борешься долинах,
Дабы, упившись, в Афинах:
— Ирой! — зевая, могли сказать.

21

Злодей, злодеев всех лютейший!
Превзыде зло твою главу.
Преступник, изо всех первейший!
Предстань, на суд тебя зову!
Злодейства все скопил в едином,
Да ни едина пройдет мимо
Тебя из казней, супостат!
В меня дерзнул острить ты жало!
Единой смерти за то мало —
Умри! умри же ты стократ!»

22

Великий муж, коварства полный,
Ханжа, и льстец, и святотать!
Един ты в свет столь благотворный
Пример великий мог подать.

85

Я чту, Кромвель, в тебе злодея,
Что, власть в руке своей имея,
Ты твердь свободы сокрушил;
Но научил ты в род и роды,
Как могут мстить себя народы:
Ты Карла на суде казнил.

23

Внезапу вихри восшумели,
Прервав спокойство тихих вод,
Свободы гласы так взгремели,
На вече весь течет народ,
Престол чугунный разрушает,
Самсон, как древле, сотрясает
Исполненный коварств чертог,
Законом строит твердь природы.
Велик, велик ты, дух свободы,
Зиждителин, как сам есть бог!

24

И дал превыспренно стремленье
Скривленному рассудку лжей;
Внезапу мощно потрясенье
Поверх земли уж зрится всей;
В неведомы страны отважно
Летит Колумб чрез поле влажно;
Но чудо Галилей творить
Возмог, протекши пустотою,
Зиждительной своей рукою
Светило дневно утвердить.

86

25

Так дух свободы, разоряя
Вознесшийся неволи гнет,
В градах и селах пролетая,
К величию он всех зовет,
Живит, родит и созидает,
Препоны на пути не знает,
Вождаем мужеством в стезях;
Нетрепетно с ним разум мыслит,
И слово собственностью числит,
Невежства чтоб развеять прах.

26

Под дровом, зноем упоенный,
Господне стадо пастырь пас;
Вдруг новым светом озаренный,
Вспрянув, свободы слышит глас;
На стадо зверь, он видит, мчится,
На бой с ним ревностно стремится.
Не чуждый вождь брежет свое;
О стаде сердце не радело,
Как чуждо было, не жалело;
Но ныне, ныне ты мое.

27

Господню волю исполняя,
До востока солнца на полях,
Скупую ниву раздирая,
Волы томилась на браздах;

87

Как мачеха к чуждоутробным
Исходит с видом всегда злобным,
Рабам так нива мзду дает.
Но дух свободы ниву греет,
Бесслезно поле вдруг тучнеет;
Себе всяк сеет, себе жнет.

28

Исполнив круг дневной работы,
Свободный муж домой спешит;
Невинно сердце — без заботы
В объятиях супружних спит;
Не господа рукой надменной,
Ему для казни подаренной,
Невинных жертв чтоб размножал;
Любовию вождаем нежной,
На сердце брак воздвиг надежный,
Помощницу себе избрал.

29

Он любит, и любим он ею;
Труды — веселье, пот — роса,
Что жизненностию своею
Плодит луга, поля, леса;
Вершин блаженства достигают,
Горячность их плодом стягчают
Всещедре бога; в простоте
Безбедны дойдут до кончины,
Не зная алчной десятины,
Птенцов что кормит в наготе.

88

30

Возри на беспредельно поле,
Где стерта зверства рать стоит:
Не скот тут согнан поневоле,
Не жребий мужество дарит,
Не груда правильно стремится,
Вождем тут воин каждый зрится,
Кончины славной ищет он.
О воин непоколебимый,
Ты есть и был непобедимый,
Твой вождь — свобода, Вашингтон!

31

Двулична бога храм закрылся,
Свирепство всяк с себя сложил,
Се бог торжеств средь нас явился
И в рог веселья вострубил.
Стекаются тут громки лики,
Не видят грозного владыки,
Закон веселью кой дает;
Свободы зрится тут держава;
Награда ей едина слава,
Во храм бессмертья что ведет.

32

Сплетясь веселым хороводом,
Различия надменность сняв,
Се паки под лазурным сводом
Естественный встает устав;

89

Погрязла в тине властна скверность;
Единая личная отменность
Венец возможет восхитить;
Но не пристрастною державну,
Лишь опытностью старцу славу,
Его довлеет подарить.

33

Венец, Пиндару возложенный,
Художества соткан рукой;
Венец, наукой соплетенный,
Носим Невтоновой главой;
Таков, себя когда мечтаю,
На крыльях разума взлетаю,
Дух бодр и тверд возможет вся;
По всей вселенной пронесется;
Мир до края вознесется:
Предмет его суть мы, не я.

34

Но страсти, изощряя злобу,
Враждебный пламенный стрясут;
Кинжал вонзится себе в утробу
Народы пагубно влекут;
Отца на сына воздвигают,
Союзы брачны раздирают,
В сердца граждан лиют боязнь;
Рождается несытна власти
Алчба, зиждущая напасти,
Чтоб обществу устроить казнь.

90

35

Крутится вихрем громоносным,
Одевшись облаком густым,
Светилом озарясь поносным,
Сияньем яд прикрыт святым.
Зовя, прельщая, угрожая,
Иль казнь иль мзду ниспосылая —
Се меч, се золото: избирай!
И, сев на камени ехидны,
Лестей облек в взор милovidный.
Шлет молнию из края в край.

36

Так Марий, Сулла, возмудивши
Спокойство шаткое римлян,
В сердцах пороки возродивши,
В наемную рать ввместил граждан,
Ругаясь всем, что есть свято,
И то, что не было отнято,
У римлян откупить возмог;
Весы золотые мзды позорной
Предательству, убийству сродной,
Воздвиг нечестья средь чертог.

37

И се, скончав граждански брани
И свет коварством оболбистив,
На небо простирая длани,
Тревожну вольность усыпив,

91

Чугунный скиптр обвил цветами,
Народы мнили — правят сами,
Но Август вью их давил;
Прикрыл хоть зверство добротой,
Вождаем мягкою душою:
Но царь когда бесстрастен был!

38

Сей был и есть закон природы,
Неизменяемый никогда,
Ему подвластны все народы,
Незримо правит он всегда:
Мучительство, строя пределы,
Отравы полны свои стрелы
В себя, не ведая, вонзят;
Равенство казнию восставит;
Едину власть, вселясь, раздавит;
Обидой право обновит.

39

Дойдешь до меты совершенство,
В стезях препоны прескочив,
В сожитии найдешь блаженство,
Несчастных жребий облегчив,
И паче солнца возблестаешь,
О вольность, вольность! да скончаешь
Со вечностью ты свой полет;
Но корень благ твой истощится,
Свобода в наглость превратится
И власти под ярмом падет.

92

40

Да не дивимся превращенью,
Которое мы в свете зрим;
Всеобщему вослед стремленью
Некосненно стремглав бежим.
Огонь в связи со влагой спорит,
Стихия в нас стихию борет,
Начало тленьем тщится дать;
Прекраснейше в миру творенье
В веселии начнет рожденье
На то, чтоб только умирать.

41

О вы! счастливые народы,
Где случай вольность даровал!
Блюдите дар благой природы,
В сердцах что вечный начертал.
Се хлябь разверстая, цветами
Усыпанная, под ногами
У вас готова вас слотить.
Не забывая ни на минуту,
Что крепость сил в немощность люту,
Что свет во тьму лязя претворить.

42

К тебе душа моя вспаленна,
К тебе, словутая страна,
Стремится, гнетом где согбенна
Лежала вольность попрана;

93

Ликуешь ты! а мы здесь страждем!
Того ж, того ж и мы все жаждем;
Пример твой мету обнажил.
Твоей я славе непричастен —
Позволь, коль дух мой неподвластен,
Чтоб брег твой непа хотя мой скрыл!

43

Но нет! где рок судил родиться,
Да будет там и дням предел;
Да хладный прах мой осенится
Величеством, что днесь я пел;
Да юноша, взалкавый славы,
Пришед на гроб мой обветшалый,
Дабы со чувством вещал:
«Под игом власти, сей рожденный,
Нося оковы позлащенны,
Нам вольность первый прорицал».

44

И будет, вслед гремящей славы
Направя бодрственно полет,
На запад, юг, восток державы
Своей ширить предел; но нет
Тебе предела ниотколе,
В счастливой ты, ликуя, доле,
Где ты явишься, там твой трон.
Отечество мое драгое,
На чреслах пояс сил в покое,
В окрестность ты даешь закон.

94

45

Но дале чем источник власти,
Слабее членов тем союз,
Между собой все чужды части,
Всех тяжесть ощущает уз.
Лучу, истекшу от светила,
Сопутствует и блеск и сила;
В пространстве — он теряет мощь;
В ключе — хотя не угасает,
Но бег его ослабевает;
Ползущего глотает ночь.

46

В тебе, когда союз прервется,
Стончает мнений крепка власть;
Когда закона твердь шатнется,
Блюсти всяк будет свою часть;
Тогда, растерзано мгновенно,
Тогда сложенье твое бренно,
Содрогшись внутренно, падет,
Но праха вихри не коснутся,
Животны семена проснутся,
Затускло солнце вновь даст свет.

47

Из недр развалины огромной,
Среди огней, кровавых рек,
Средь глада, зверства, язвы томной,
Что лютый дух властей возжег, —

95

Возникнут малые светила;
Незыблемы свои кормила
Украсят дружба венцом,
На пользу всех ладью направят,
И волка хищного задавят,
Что чтил слепец своим отцом.

48

Но не пришла еще година,
Не совершился судьбы;
Вдали, вдали еще кончина,
Когда иссякнут все беды.
Встрещат заклы тяжкой ночи;
Упруга власть, собрав все мочи,
Вкатясь, где потщится пасть,
Да грузным махом всё раздавит,
И стражу к словеси приставит,
Да будет горшая напасть.

49

Влача оков несносно бремя,
В вертепе плача возревет
(Придет вожделенно время),
На небо смертность воззовет;
Направлена к стези свободой,
Десную ополча природой,
Качнется в дол — и страх пред ней;
Тогда всех сил властей сложенье
Развееся в одно мгновенье.
О день избраннейший всех дней!

96

50

Мне слышится уж глас природы,
Начальный глас, глас божества,
Трясутся вечна мрака своды,
Се миг рожденья вещества.
Се медленно и в стройном чине
Грядет зиждитель во едине —
Рек — яркий свет пустил свой луч,
И, ложный плена скиптр поправши,
Сгущенную тьму разогнавши,
Блестящий день родил из туч.

7 А. Радищев

СТРОФЫ ОДЫ „ВОЛЬНОСТЬ“,
СНЯТЫЕ РАДИЩЕВЫМ
В ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ

9

Сей был, и есть, и будет вечный
Источник лютой рабства оков:
От зол всех жизни скоротечной
Пребудет смерть один покров.
Всесильный боже, благ податель,
Естественных ты благ создатель,
Закон свой в сердце основал;
Возможно ль, ты чтоб изменился.
Чтоб ты, бог сил, столь угодился.
Чужим чтоб глазом нам вещал.

24

Ниспослал призрак, мглу густую
Светильник истины поправ;
Личину, что зовут святою,
Рассудок с пагубы сорвал.
Уж бог не зрится в чуждом виде,
Не мстит уж он своей обиде,

98

Но в действьи распростерт своим;
Не спасшему от бед как мнимых.
Отцу предвечному всех зримых
Победную мы песнь поем.

26

Сломив опору духовной власти,
И твердой мщенья рукою
Владычество расторг на части,
Что лжей воздвигнуто святой;
Венец трезубый затмевая
И жезл священства преломляя,
Проклятий молнии утушила;
Смеясь мнимого прещенья,
Подъял луч Лютер просвещенья,
С землею небо помирил.

27

Как сый всегда в начале века
На вся простерту мочь явил,
Себе подобна человека
Создати с миром положил,
Пространства из пустыней мрачных
Исторг — и твердых и прозрачных
Первейши семена всех тел;
Разруша древню смесь покоил;
Стихиями он все устроил
И солнцу жизнь давать велел.

* * *

— **И** очто, мой друг, почто слеза из глаз катится,
Почто безвременно печалью дух крушится?
Ты бедствен не один! Иной среди утех
Всесчастлива кажется, но знает ли, что смех?
Улыбка на устах его воссесть не может,
Змия раскаянья преступно сердце гложет;
Властитель мира, царь, он носит в сердце ад.
— Мне пользует ли то? лишен друзей и чад,
Скитаться по лесам, в пустынях осужденный,
Претящей властью отвсюду окруженный,
На что мне жить, когда мой век стал бесполезен?

— Воспомни прежни дни, когда ты был любезен
Всем знающим тебя, соотчикам, друзьям,
Когда во льстящей мгле являлось все очам;
Когда во власти был веселий на престоле;
Когда рок следовал твоей, казалось, воле,
Когда один твой взор счастливых сделать мог.

— Блаженством все сие я почитать не мог.
Богатство, власть моя лишь зависть умножали;
В одежде дружества злоден предстояли;
Вслед честолюбию забот собранье шло;
Злодейство правый суд и судию кляло;

Злоречие, нося бесстрастия личину,
И непорочнейшим делам моим причину
Коварну, смрадную старалось приписать
И добродетели порочный вид придать.
Благодеянию возмездьем огорченье.

— Среди превратности что ж было в утешенье?
— Душа незлобная и сердце непорочно.

— Скончай же жалобы, подъятые бессрочно.
Или в пороки впал и гнусность возлюбил,
Или чувствительность из сердца истребил?

— Душа моя во мне, я тот же, что я был.

— Дела твои с тобой, душа твоя с тобою.
Престань стенать. Кто мог всецельною рукою
И сердце любяще и душу нежну дать,
К утехам может тот тебя опять воззвать.
А если твоего сна совесть не тревожит
И память прежних дел печаль твою не множит,
То верь, что всем бедам уж близок стал конец.
Закон неизблемый поставил всеотет,
Чтоб обновление из недр перемен рождалось,
Чтоб всё крушением в природе обновлялось,
Чтоб смерть давала жизнь и жизнь давала
смерть;

То шествие судьбы возможно ли претерпеть?
На восходящую воззри теперь денницу,
На лучезарную ее зри колесницу;
Из недр густейшей мглы, смертообразна сна,
Возобновленну жизнь земле несет она.

— Се живоносное светило возблистало
И утренни мечты от глаз моих прогнало,
Приятный тихий сон телесность обновил,
И в сердце паки я надежду ощутил.

— Подобно ей печаль в веселье претворится,
Оружьем радости вся горесть низложится,
На крыльях радости умчится скорбь твоя,
Мужайся и будь тверд, с тобой пребуду я...

* * *

Час преблаженный,
День вожденный!
Мы оставляем,
Мы покидаем
Илимские горы,
Берлоги, норы!

ЖУРАВЛИ

Басня

Осень листья ошипала с дерев,
Иней седой на траву упал,
Стадо тогда журавлей собралось,
Чтоб прелететь в теплу дальну страну.
За море жить. Один бедный журавль.
Нем и уныл, пригорюнясь сидел:
Ногу стрелой перешиб ему ловчий.
Радостный крик журавлей он не множит;
Бодрые братья смеялись над ним.
«Я невиновен, что я охромел,
Нашему царству, как вы, помогал.
Вам надо мной хохотать бы не должно.
Ни презирать, видя бедство мое.
Как мне лететь? Отымает возможность,
Мужество, силу претяжка болезнь.
Волны, несчастному, будут мне гробом.
Ах, для чего не пресек моей жизни
Ярый ловец!» — Между тем веет ветер.
Стадо взвилось и скорым полетом
За море вмиг прелететь поспешает.
Бедный больной назади остается;
Часто на листьях, плавущих в водах,
Он отдыхает, горюет и стонет;

Грусть и болезнь в нем все сердце скупают.
Мешкав он много, летя поменьше,
Землю узрел, вожделенну душою.
Ясное небо и тихую пристань.
Тут всемогущий болезнь излечил,
Дал жить в блаженстве в награду трудов:
Многи ж насмешники в воду упали.

О вы, стелющиеся под тяжкою рукою
Злосчастия и бед!
Исполнены тоскою,
Клянете жизнь и свет;
Любители добра, ужель надежды нет?
Мужайтесь, бодрствуйте и смело протекайте
Сей краткой жизни путь. На он-пол поспешайте:
Там лучшая страна, там мир вовек живет,
Там юность вечная, блаженство там вас ждет.

ОСМНАДЦАТОЕ СТОЛЕТИЕ

Урна
И на дальнейшем берегу
Вечности в море; а там нет ни предел,
Не возвышался там остров, ни дна там лот
Веки в него протекли, в нем исчезает их след.
Но знаменито веки своею кровавой струею,
И сокрушил наконец корабль, надежды несущий,
Пристани близок уже, в водоворот поглощен,
Счастье, и добродетель, и вольность пожрал омут
Зри, всплывают еще страшны обломки в струе.
Нет, ты не будешь забвенно, столетье безумно
Будешь проклято век, ввек удивлением всех.
Крови — в твоей колыбели, припевание — громы
Ах, омоченно в крови, ты ниспадаешь во гроб;
Но зри, две вознеслися скалы во среде струй
Екатерина и Петр, вечности чада! и росс.

Мрачные тени созади, впереди их солнце;
Там многотысячнолетны растаяли льды
Но зри, стоит еще там лдяный хребет,
Так и они — се воля господня — исчезнут, растая,
Да человечество в хлябь лдяну, трясясь,
О незабвенно столетие! радостным смертным
Истину, вольность и свет, ясно созвездье вовек;
Мудрости смертных столпы разрушив, ты их паки
Царства погibli тобой, как раздробленный
Царства ты зиждешь; они расцветут и низринутся
Смертный что зиждет, всё то рушится, будет
Но ты творец было мысли; они ж суть творения
И не погibнут они, хотя бы гибла земля;
Смело счастливой рукою завесу творенья возвев,
Из океана возникли новы народы и земли,
Ты исчисляешь светила, как пастырь играющих
Нитью вождения вспять ты призываешь комет;
Луч рассечен тобой света; ты новые солнца

САФИЧЕСКИЕ СТРОФЫ

Ночь была прохладная, светло в небе
Звезды блещут, тихо источник льется,
Ветры нежно веют, шумят листьями
 Тополы белы.

Ты клялася верною быть вовеки,
Мне богиню ночи дала порукой;
Север холодный дунул один раз крепче —
 Клятва исчезла.

Ах! почто быть клятвопреступной!.. Лучше
Будь всегда жестока, то легче будет
Сердцу. Ты, маня лишь взаимной страстью,
 Вергла в погибель.

Жизнь прерви, о рок! рок суровый, лютый,
Иль вдохни ей верной быть в клятве данной.
Будь блаженна, если ты можешь только
 Быть без любви.

ПЕСНЯ

Ужасный в сердце ад,
Любовь меня терзает;
 Твой взгляд
Для сердца лютый яд,
Веселье исчезает,
Надежда погасает,
 Твой взгляд,
Ах, лютый яд.

Несчастный, позабудь...
Ах, если только можно,
 Забудь,
Что ты когда-нибудь
Любил ее неложно;
И, сердцу коль возможно,
 Забудь,
Когда-нибудь.

Нет, я ее люблю,
Любить вовеки буду;
 Люблю,
Терзанья все стерплю
[Ее не позабуду]
И верен ей пребуду;

Терплю,
А всё люблю

Ах, может быть, пройдет
Терзанье и мученье;

Пройдет,
Когда любви предмет,
Узнав мое терпенье,
Скончав мое мученье,

Придет
Любви предмет.

Любви моей венец
Хоть будет лишь презренье,
Венец

Сей жизни будь конец;
Скончаю я терпенье,
Прерву мое мученье;

Конец
Мой будь венец.

Ах, как я счастлив был,
Как счастлив я казался;
Я мнил,

В твоей душе я жил,
Любовью наслаждался,
Я ею величался

И мнил,
Что счастлив был.

Все было как во сне,
Мечта уж миновалась

Ты мне,
То вижу не во сне,
Жестокая, смеялась,
В любви притворялась
Ко мне,
Как бы во сне.

Моей кончиной злой
Не будешь веселиться,
Рукой
Моей, перед тобой,
Меч остр во грудь вонзится,
Моей кровь претворится
Рукой
Тебе в яд злой.

ОДА К ДРУГУ МОЕМУ

1

Летит, мой друг, крылатый век.
В бездонну вечность все валится,
Уж день сей, час и миг протек,
И вспять ничто не возвратится
Никогда.

Краса и молодость увяли,
Покрылись белизной волосы;
Где ныне сладостны часы,
Что дух и тело чаровали
Завсегда?

2

Твой поступь был непреткновеи,
Гордящаяся глава вздымалась;
В желаньях ты непречерчен,
Твоим скорбь взором развевалась
Яко прах.

Согбенный лет днесь тяготою,
Потупил в землю тусклый взор;
Скопленный дряхлостей собор
Едва пренес с своей клюкою
Один шаг.

Таков всему на свете рок:
Не вечно на кусту прельщает
Мастистый розовый цветок,
И солнце днем лишь просияет,
Но не в ночь.

Мольбу напрасно мы возводим,
Да прелесть юных добрых лет
Калечна старость не женет;
Нигде от едкой не уходим
Смерти прочь.

4

Разверстой медной хляби зев,
Что смерть вокруг тебя рыгает,
Ту с визгом сунув махом в бег,
Щадя, в тебя не попадает
На сей раз.

Когда на влажистой долине
Верхи седые ветр взмутит,
Как вал, ярься, в корабль стучит,
Преплыл не поглощён в пучине
Ты в сей час.

5

Не мни, чтоб смерть своей косою
Тебя в полете миновала;
Нет в мире тверди никакою,
Против ее чтоб устояла,
Как придет.

Оставишь дом, друзей, супругу,
Богатства, чести, что стяжал:
Увы! последний час настал,
Тебя который в ночь упругу
Повлечет.

6

Кончины узрим все чертог,
Объят кровавыми струями;
Пред веком смерть судил нам бог;
Ее вершится всё устами
В мире сем.

Ты мертв; но дом не опустеет,
Взовет преемник смехи твой;
Веселой попирать ногой,
Не думая, твой прах умеет,
Ни о чем.

7

Почто стенати под пятой
Сует, желаний и заботы?
Поверь, вперячь нам ум весь свой
В безмерны жизни обороты
Нужды нет.
Спокойным оком я взираю
На бурны замыслы царей;
Для пользы кратких тихих дней,
Крушась всечасно, не собираю
Златых бед.

118

8

Костисту лапу сокрушим,
Печаль котору в нас вонзила;
Мы жало скуки преломим,
Прошед что в нас с чела до тыла
Душу ест.

Бедру весельем препояшем,
Исполним радости сосуд,
Да вслед идет любовь нам тут;
Богине бодрственно воспряшем
Нежных мест.

ПОЭМЫ

БОВА

повесть богатырская стихами

ПЛАН БОГАТЫРСКОЙ ПОВЕСТИ БОВЫ

При тихом плавании Бова поет песню, соответственную своей горькой участи. Вдруг восстает буря; все, струся, молятся богу, всякий своим маиером. Бова сидит один пригорюнясь, что раздражило матросов; они его бросают в море. Буря утихает, как будто нужно было для утишения ее, чтоб он был брошен. Бова между тем выкинут на берег; лежал долго, встал, идет и видит (описание острова похотливости). Игры, смехи, забавы стараются его целую неделю заводить в любовные сети, но он удерживает свое целомудрие, не ради чего, как по своей новости. Через неделю вся прелесть острова пропадает, и он превратился в пустыню; он ходит, находит костер зажженный, на котором горит зажженная змеиная кожа; он ее вынимает, но едва он сие сделал, как день померк, гром восстал; и он видит при сверкании молнии, видит ужасных чудовищ и проч. и между ими идущую жену прекрасную, но взору сурового. Несчастный, ты сохранил мою лютую злодейку, и я тебе всегда буду метить. Ее угрозы: не властна

я в твоём теле, но в сердце твоём; я им тебя накажу. — Между тем видит он из-за горизонта восходящую будто зарю; мрак исчезать начинает, с ним и призраки и вид жены строговзорой; свет множится. Он видит летящую колесницу, везомую лебедями; опустилась, нисходит жена вида величественного, приятного; благодарит, что он ее кожу спас и возобновил ее юность. Повествует о духах, как они властвуют над человеком, а сами подвержены, чтоб умножаться, чрез семь дней обращаться в змий, и если их кожу кто унесет, то они становятся человеки, подверженные всем немощам людским и, по долговременной и дряхлой жизни, может быть, и смерти. Люба украла ее кожу и уже сто лет ее держала, но он ее спас; в благодарность она ему обещает блаженство: силой и красотой одарила тебя природа, но берегись мсей совместницы и лесь не принимай за любовь истинную. А чтоб то тебе познавать, вот тебе зеркало: когда, в страсти будучи, ты в него взглянешь и оно чисто, то любым нелицемерно, ежели же тускло, то любовь плотская и соперница моя близка. Когда же что захочешь от меня, то помысли и в зеркале увидишь, что тебе делать. Сказав, исчезла, остров и все из глаз пропало, и Бова очутился на том же песчаном берегу, где, мы позабыли сказать, что, утомленный плаванием в буре, он заснул. Дивится сновидению своему, но еще больше дивится, видя близ себя малое зеркальце. Не ведает, сон ли то или мечта. Идет, встречает старца, который ему очень рад. Он его отводит домой, где его все принимают с радостью, дивятся

ему, его омывают, наряжают в белое платье и объявляют ему, что он невольник по законам. Он им рассказал свою повесть, скрыв только свой чин. Плачет; из погибели в неволю.

На другой день его выводят на торжище, где его продают садовнику царскому. Сей отводит его в сад; он живет, работает и поет свою песню. Услышала царица, велела привести его к себе и, увидя его столь юна и широкоплеча, влюбилась. Начала к нему приступать. Идет в баню, куда и его зовут; он не соглашается. Его в комнатные наряжают, он стоит за ее стулом. Тут его увидела царица, влюбляется, не знает, что чувствует, но они сходятся в саду и, знаяши, что худо делают, исполняют волю любви. Недолго они тем наслаждались; царица, гуляя в саду, их застаёт; ее ревность, бешенство, отчаяние; велит царевну запретить в терем, а его сослала на конюшню. Тоска его, отчаяние.

Между тем помышляет царь отдать дочь свою замуж, бояся следствий свидания с Бовою; клич кличут, чтобы все цари, царевичи и сильные богатыри съезжались на турнир, и кто всех победит, тот будет ему зять. В назначенный день собираются на ратное место многие царевичи и богатыри; приходит царь с царицей, и приводят царевну. Унылость ее делала ее привлекательнее и черты ее опаснее. Сражаются.

Между тем Бова, горюя о своем жребии, имея всегданнее желание видеть царевну, вспомнил о своем зеркале, которое всегда носил на шее, взглянул в него и видит себя в нем в богатырском

уборе на коне; внизу сии слова: ступай на поприще и там увидишь. Пошел в конюшню царскую, седлает одного из коней, подле коего находит сбрую ратную богатырскую: латы, шлем пернатый, меч и копие. Наряжается и, опустив зрельницу, едет за город на место поприща. Уже все рыцари побились, и один остался над всеми победителем, развезжает гордо; громко возглашает, вызывая на бой. Бова въезжает, пускают его; пускаются, копыя их летят вдребезги, вынимают мечи и, наскочав, ударяют друг друга; у Бовы меч переломился; соперник его хочет с размаху в зрельницу ударить, но он, уклоняся, спрыгивает с коня и, прискочив, сдергивает всадника с коня и меч его, вырвав, отбрасывает. Схватываются бороться, и Бова, одолев его, повергает на землю, ставит колено на грудь, снимает шлем и принуждает признать себя побежденным. Тут к нему подступают все и ведут его торжественно; а соперник его скрылся от стыда, яростен и жглая мщения; сей был Лукопер, сын хана Болгарского. Бова венчается царственною; она взолагает на него венец, говорит: будь счастлив, но не сомною. — Ах, прекрасная, ужели Бова недостойн стал тебя, или твоя любовь переменилась? но, хотя победитель, ведаю, что не могу еще быть твоим супругом. Дай мне слово не быть ничьюю. — Клянусь, — вещала царица. Он снял шлем и подошел к царю и царице; сия, увидя его, возгорелась паче любовью; но, дабы положить преграду женитьбе, причла ему в вину, что, не будучи рыцарь, он смел сражаться, и хотя он по-

бедитель, но должен сперва заслужить свою вину. Итак, Бову велели судить, и судьи мудрые присудили сделать Бову рыцарем и велеть ему ехать искать живой воды, которая, по сказанию верных людей, нянь и мамок, течет из горы за тридевять земель в тридесятом царстве. Его посвятили рыцарем, и он надел черные доспехи в знак своей печали, пустился. Выехав за город. . . — Иной спросит: для чего он не послушался? Нельзя; кто знает, сколь строги законы чести, тот знает, что рыцарских правил послушаться было нельзя. Да и ныне, когда свинья тебя толкает рылом, то тьяни вопшагу и колись: так честь повелевает. Но преслушался он в том, что захотел видеть царицу, и вынул зеркало, посмотрел, видит себя одетого в старушечье платье цыганкою и слова: иди к терему. Остановился, видит, у дороги лежит одежда, одевается, идет, поет: кто хочет знать свою судьбу, давай тот денег и узнаешь; кто чает быть царем, ходи тот к нам, и дам ответ; кто хочет знать, что мило сердцу, будет ли то его иль нет, бери от нас совет, и грусть его пройдет! — Старуху, хоть сердце и свербит, но любопытство! зовут цыганку! он поет и велит царице плакать. Открывается, живет у нее, спит с нею и позабыл про живую воду. Жил у нее четыре месяца, видит в одну ночь, что он упал с терема и зеркало разбил; он было, в утехах, про него и позабыл; пробудился, глядит, видит, зеркало тускло, и едва читает сии слова: лживый рыцарь, не сохраняешь клятву, ты недостойн обещанного блаженства. Спеши обет исполнить, а в наказанье, что послушал своей страсти,

зеркало у тебя отъемлетя, доколе не исправишься. Едва он сне прочесть успел, зеркало исчезло, а он себя нашел лежащ на земли в доспехах богатых у ног своего коня и без зеркала. Дивится, но сел и поехал.

Уже проехал он многие земли и царства, путь продолжая на восток, презирая непогоды, зной, холод, жажду, глад, достиг наконец подошвы Тавра. Утомленный долгим путем, он слез, коня расседлал и пустил, а сам снял шлем и лег на мураве; и видит едущего с горы; показался ему исполин, сидящ на коне исполинном, но ближе подъехав, увидел, что то был человек сверху, а внизу конь, испужался, но кликнув к себе коня, надел шлем и поехал. Издали кричал ему чудовище: как смеешь, молокосос, сесть при мне на коня; я Полкан, сын Бреда, сила моя известна в свете; покорись или умрешь, даю тебе время на размышление, погляди на меня поближе. — Бова видит сверху человеческое, но зверообразное, мохнатое лицо, нос красно-синий, глаза как угли раскаленные, по пояс был весь мохнат, а ниже пояса конь сильный, у которого недоставало только шеи и головы; на плече держал палицу дубовую или, лучше сказать, дубовое бревно. Бова не утратился и в ответ ему сказал только: развезжайся, и поскачем. Ударилась. У Бовы копы разлетелось, ниже оцарапало Полкана, но удар столь был силен, что Полкан упал на колена, а он Бову столь ударил сильно, что Бова слетел с лошади; но выпув меч, пошел опять против чудовища. Сей ему говорит: ты первый, кто мог мне дать такой удар, и проч.

Твой меч будет безуспешен, ибо я определен умереть от когтей львиных, я их много поражал, но конца своего еще не знаю. Будем друзья, твое мужество мне нравится. Поедем. — Бова ему сказал, куда послан. — Ах! неистовая царица желает твоей смерти, я была в их воле; отец ее за мое озорничество обманом зарыл меня в землю, и кормили меня только хлебом и водою, и меня с тем выпустили, чтобы я тебя убил за то, что про тебя сказали, что обесчестил царевну и бой рыцарский, будучи раб купленный; на погибель твою, — сказал Полкан, — я бы туда поехал и тебе пособил, но тот, в чьей области сия вода, мне брат. — Так сделай же доброе дело, поезжай, освободи мою супругу. — Полкан дал слово, и расстался.

Полкан возвратился и сказал царице, что он не нашел Бову, а ночью, украв царевну, увез ее и поехал; хотел убить мать Бовину и царевну там посадить, чтобы ждала Бовы. Уже они достигли до пределов того государства, но стали отдохнуть, царевна уснула, а проснувшись, увидела Полкана мертва и подле него льва издахающего, у которого разорваны были лапы. Она утратилась, пошла в город и нанялась в работницы; родила двойни.

Между тем царица, пылая мщением, призвала чародея и сказала, что ей хочется погубить Бову. — Погубить его нельзя, судьбы тому противны, но можно его свергнуть в несчастье, отняв у него сбрую ратную и коня. — Ступай, — сказала царица. Чародей вмиг догнал Бову, который оставался близ прада Испгани. Пустил коня. Но

чародей прежде вошел в город и солгал царю Салтану, что Бова приехал воевать его государство. И так царь выслал против него много рати, но Бова их прогнал и поехал мимо. А чародей оделся в монашеское дервишское платье, сел на распутье. День очень был жарок; Бова, ехав, увидел старца под деревом пиощего, попросил у него, тот ему подал, и Бова захотел спать. Лег, а чернец снял с него доспехи и, взяв меч и копьё, сел на коня его и ускакал, сказав в Испагани, что Бова обезоружен; пришли, взяли его и посадили его в тюрьму. Бова горюет, готовят ему казнь. Ибо тут был царем тот самый Лукопер, которого он победил на поприще. В ту ночь, когда ему было идти на казнь, он, ходя по темнице, оцупал в углу меч, обрадовался; то меч был богатыря, которого царь уморил с голоду, зарыв в темнице. Как пришли его братья, то он стал убивать тех, которые к нему приближались, наконец отбил всех и, вышед, пошел вон из города; никто не смел его тронуть. Лукопер, узнав, сам поскакал за ним, но Бова, отвернувшись от его копья, ударил мечом наотмашь и свалил его. Взял его коня и поехал, а рать Лукоперова за него не вступилась.

Наконец достиг Бова той горы и, сражавшись с привидениями и страстями, наконец почерпнул воды, напился ее и в новой силе поехал в обратный путь. Приезжая назад, увидел, что царевна увезена Полканом, а чародей, возвратясь в его доسخах, убил царя с царицей и стал царем. Тогда скоро в цари попадали. Узнав также, что она поехала с Полканом к матери Бовы, он с ратью хо-

дил на то царство, короля убил изменою, а жена его умерла прежде; но дань наложить на царство не мог, ибо там вельможа один начальником был, а царевны не нашел. Бова туда поехал, нашел охотника, принят был, ибо вельможа был его дядька Цымбалда. Бова услышал, что Полкан был умерщвлен львом, и думал, что и царевна также, то по совету дядьки хотел жениться. Он прежде воевал чародея и, убив его, покорила его царство. Все уже готово было, как он, объезжая свое царство, близ маленького отдаленного городка увидел двух мальчиков, из коих один шед играл на арфе, а другой пел его любимую песню, что он певал в несчастии; спросил у них, кто они, и, пошед с ними, нашел царевну.

БОВА

O che caso! che sventura.

ВСТУПЛЕНИЕ

Из среды туманов серых
Времен бывших и протекших,
Из среды времен волшебных,
Где предметы все и лица,
Чародейной мглой прикрыты,
Окружены нам казались
Блеском славы и сияньем;
Где являются все вещи
Исполнины и пройки,
Как то в камере обскуре;
Я из сих времен ждал бы
Рассказать старинну повесть
И представить бы картину
Мнений, нравов, обычаев
Лет тех рыцарских преславных,
Где кулак тяжеловесный
Степень был ко громкой славе,
А нередко — — ко престолу;
Где с венцом всегда лавровым
Венец миртовый сплетался,

Где сражались за славу
И любили постоянство.
Хоть грешинки кой-какие
Попадались, но их в строку
Невозможно было ставить,
Зане юности проступок,
Неопытности погрешность
Есть удел детей Адамлих,
Есть лишь следствие всегдашнее
Неизбежное чувств наших.
Но прехов распутства умна,
Грехов хитрого софисма
Там не знали. — — — Да еще же
Я намерен рассказать вам,
Как то свойственно и нужно,
Чуть не вымолвил я — должно
Для того, кто в гости ездил
Во страны пустынь, дальны,
Во леса дремучи, темны,
Во ущелья — ко медведям.
Итак, только расскажу вам
То, что льстить лишь будет слуху,
Что гораздо слаще меда
Для тщеславья и гордыни;
А все то, что чуть не гладко,
То скорее мы поставим
В кладовую или в погреб.
И проклятие положим,
Если дерзкой кто рукою,
Сняв покров прельщенья наша,
Обнажит протекше время.
Мы проклятье налагаем,

Хоть из моды оно вышло,
Но мы в силах наших скудны;
А когда б властитель мира
Я Тиверий был иль Клавдий,
Тогда б всякий дерзновенный,
Кто подумать смел, что дважды
Два четыре, иль пять пальцев
Ему в каждую дал бог руку,
Тот бы пал под гневом нашим.
А как не дал нам бог власти,
Как корове рог бодливой,
То мы к дерзкому воскликнем:
Отойди, пожалуй, дале,
Поди вон ты, оглашенный;
Мне здесь нужно суеверье;
Обольщен я, но желаю
Обольщен быть... и от скуки
Я потешуся с Бовою.
Я вам сказку лет тех древних
Расскажу, которую слышал
От старинного я дядьки
Моего, Сумы любезна.

Петр Сума, приди на помощь
И струю речи сладкой
Оживи мою ты повесть.
Без складов она, без рифмы
Вслед пойдет творцу Тавриды;
Но с ним может ли сравниться!!
О Вольтер, о муж преславный!
Если б можно Бове было
Быть похожу и кое-как

На Жанету, деву храбру,
Что воспел ты; хоть мизинца
Ее стоить; если б можно,
Чтоб сказали — Бова только
Тоша тень ее. — довольно, —
То бы тень была Вольтера,
И мой образ изваянный
Возгнезвился б в Пантеоне.
Но боюсь, твоя участь
Будет равная с Жанлисой —
По передням волочиться.

Вы Бову хотя видали,
Но в старинном то кафтане,
Во рассказах няни, мамы
Иль печатного;... но дядькин
Бова нового покроя,
Зане дядька мой любезный
Человек был просвещенный,
Чесал волосы гребенкой,
В голове он не искался,
Он ходил в полукафтаны;
Борода, усы обриты,
Табак нюхал и в картишки
Играть мастер; еще в чем же
Недостаток, чтобы в свете
Прославить славным стихотворцем
Иронической поэмы
Или оды, или драмы? — —
Я пою Бову с Сумою!
Возбрянчи, моя ты арфа,
Ныне лира уж не в моде,

Иль вы, гусли звончатые,
Загудите, заиграйте;
Я пою — — — а вас послушать,
О возлюбленны граждане,
К себе в гости призываю.

На Пегаса я воссевши,
Полечу в страны далеки,
В те я области обширны,
Что Понт Черный облегают;
Протеку страны и веси,
Где стояло сильно царство
Славна древле Мифридата,
Где Тигран царил в Армении;
Загляну я во Колхиду,
Землю страшну и волшебну,
Где Ясон, обняв Медею,
Укротил сурово сердце
Сей волшебницы ужасной.
О любовь, о лесь пресладка,
Можно ль в свете отыскать где
Тебе сердце непокорно?

Посещу я и Тавриду,
Где столь много всегда было
Превращений, оборотов,
Где кувыркались чредою
Скифы, греки, гемуэцы,
Где последний из Гиреев
Проплясал неловкий танец;
Чатырдаг, гора висока,
На тебя, во что ни станет,

Я вскарабкаюсь; с собою
Возьму плащ я для тумана,
А Боброва в услажденье. — — —

Из Тавриды в Таман прямо,
А с Тамана чрез Кавказски
Горы съеду я на Волгу,
Во Болгарах спою песню;
Воздохну на том я месте,
Где Ермак с своей дружиной,
Садясь в лодки, устремляясь
В ту страну ужасну, хладну,
В ту страну, где я средь бедствий,
Но на лоне жаркой дружбы
Был блажен и где оставил
Души нежной половину.
Воздохну, что нет уж силы,
О Ермак, душа велика,
Петь дела твои! — — — Я с Волги
Перейду на Дон, где древле
(Так, как ныне) коней быстрых
Табуны паслися многи,
Где отечество удалых
Молодцов, что мы издавна
Называли казаками.
Сошед с Дона, к Ворисфену
Мы стопы свои направим.
Там Владимир, страны многи
Покорив своей державе,
В граде Киеве престольном
Княжил в блеске пышна сана
Над обширным царством русским.

Окружен всегда толпою
Славных рыцарей российских,
Он для памяти потомства
Живет в Несторе и в сказках.
О блажен, блажен сугубо!

Со Днестра пойдем к Дунаю;
На могиле древней мшистой
Мы несчастного Назона
Слезу жаркую изроним.
От Дуная морем Черным
Поплывем ко Геллеспонту
И покажем ту дорогу,
По которой плавяши смело
Войны русские возмогут,
Византии стен достигши,
На них твердо водрузити
Орлом славно русско знамя.
Но то скоро ли свершится?
Будто время уж настало,
Мне то снилось недавно —
Хотя снилось, но не знаю,
Когда будет; — не пророк я,
Но то знаю — оно будет.

Я к Бове теперь отправлюсь.
А ты, милый друг читатель,
Если лучшее познаешь
О странах сих иметь хочешь,
Читай Бишинга — от скуки.

Ветр попутный веет тихо
В белый парус корабельный.
Там на палубе летяща
Корабля, что волны зыбки
Рассекал на влажном поле,
Бова сидя песнь унылу
Пел и в гусли златоструны
Бряцал легкими перстами.
Пел, стонал, бряцал и плакал,
Лил потоки слез горючих.

«Что возможет, ах, сравниться
С лютой горестью моею,
Кто быть может столько бедствен,
Столько бедствен, как Бова?»

Лишь светило дня блестяще
Мои очи озарило,
Грусти, горе и печали
Мне достались в удел.

Желчь сосал я вместо пищи
Из сосцов змеиных лютых,
Колыбель мою качали
Скорбь угрюмая и злость.

Сирота унылый, горький!
Мой злодей мне мать родная!
Она жизнь мою хотела
Чуть расцветшую прервать.

Я один меж всей природы,
Я во всей вселенной странник
И пустынный между тварей
Всех, родившихся в любви.

Ах, уныло мое сердце,
Не знай лютой сея страсти;
Ей горят сердца преступны;
А ты будь всегда ей враг».

Песнь скончал, поставил гусли;
Пригорюнясь, взор ко берегу,
Что вдали едва синее,
Обратил и, вздохнувши
Тяжело, вещал он тако:
«Ты прости, страна родная,
Ты прости, прости навеки.
Мать жестока, мать сурова,
О тебе я не жалею».

Слыша речи столь унылы,
Слыша песни столь плачевны,
Подошла к Бове старуха,
Что в артели корабельной
Должность важну отправляла
Метр-д-отеля иль — стряпухи.
Хоть всю жизнь на синем море
Провела она с лет юных
В шайке лютых и свирепых,
Ко серебру и злату алчных,
Сих варягов и норманов,
Кои прозвище в дни наши

Не разбойники морские,
Не наездники, не воры,
Сохрани нас бог, помилуй,
Чтоб их назвали столь мерзко, —
Не арабы марокански,
Не алжирцы, не тулисцы,
Но те люди благородны,
Что без страха развезжают
В те суровые години,
Как яр Позвизд с Чернобогом.
Пеня волны, окропляют
Их верхи людскою кровью;
Грабят всех — без наказания.
Хотя выросла старуха
Среди шума волн и ветров,
При воззрени всегдашнем
На жестокости Арея,
Средь стенаний, вопля, крика
Умирающих злой смертью,
Или злее самой смерти
Во оковах срамных, тяжких
Иль железных неволи,
Иль рабства насилья дерзка;
Но была старуха наша
Мягка сердцем и душою
И с седым своим запылком
Равнодушно не взирала,
Как молоденький детинка
Проливал горячи слезы.
Была ль то одна в ней жалость,
Иль в старухе кровь играла,
Того повесть, хотя верна,

Не оставила на память.
Наша повесть только пишется,
Что, подшед к Бове поближе,
Она руки распростерла
И к иссохшей своей груди
Прижимала Бову крепко.
«Столь ты юн, но столь ты бедствен! —
Возгласила стара ведьма
(Ведьма добра, мягкосерда,
Не как Киевские ведьмы,
Что к чертям с визитом ездят
На ухвате без уздечки). —
Ты открой свое мне сердце.
Забудь горе на минуту.
Моя власть хоть невелика,
Хоть у всех я здесь служанка,
Но мои старанья нежны
Облегчат твою судьбину».
Говоря сие, отводит
Бову в малую каюту,
Где старуха наша нежна
Обед братьям всем готовит.
Тут, согрев и накормивши,
Бову нежно обнимает,
Очи мокры от слез горьких
Оттирает поцелуем.
«Скажи мне, — она вещает, —
Скажи мне свою кручину,
Свою участь мне сурову!»
Бова нежно имел сердце,
В первый раз чрез многи годы
Ощущает он отраду,

Сладость ласки, сладость дружбы.
Ах! какое в грусти сердце,
Сердце сиро, одиноко,
Не внушит приязни гласу
И не сдастся на ласканье
Хоть столетняя старухи?
Если витязь Роберт славный
Мог, ступив ногой на нежность,
Обнять старую хрычовку
И в объятых ее мразных
Совершить победу жарку,
Восхитив цветок иссохший;
Роберт был в любви ученый
И задачу брачна ложа
Мог решить он без поверки;
Нос зажал, глаза зажмурил
И, как витязь македонский,
Узел Гордыев рассек махом, —
То Бове равно прилично
Обнимать старуху дряхлу:
Бова, знаем, парень новый,
Он не видит преткновенья,
Ласке лаской отвечает
И лобзанию лобзаньем;
Ему ж не было задачи,
Как Роберту, на решенье,
Ложась с ведьмой спать на ложе.
Старушонку Бова мило
И столь крепко обнимает,
Что напомнил ей то время,
Как ей было лет лишь двадцать.
Не на ложе возлегают,

Но на печку лезут греться,
Зане холодно уж было.
Тут Бова, собрав все силы,
Тут Бова, вздохнув глубоко,
Вынимает из кармана
Платок белый, для запаса,
Чем утрет ее он слезы.
Зане знал Бова заране,
Сколь его плачевна повесть
И что тронет через меру
Сердце добрых старухи.
Еще раз вздохнул, рек тако:

«Я Бова, Бова царевич...
Ты дивишься тому, вижу;
Но верь совести неживой.
Я бы мог в том побожиться,
Но божиться не умею
И божиться не охотник.
Город, в коем я родился,
Есть столица сильна царства,
Где пред сим венчаный властью
Держал скипетр царь премудрый,
Царь Кирбит, сын Версаулов,
Славен мужеством на брани,
Славен разумом в советах.
Милосерд, и щедр, и кроток,
И любим своим народом.
Ему дочь была родная
Всех прекраснее из женщин,
Мелетриса ее имя.
Слух о царствии Кирбита,

О его правленьи мудром
И о прелестях царевны
Молва громкая повсюду
До дальнейших мест промчала.

Двор Кирбитов был собранье
Всех красавиц в государстве;
Но меж всеми, яко солнце
Среди звезд эфирна свода,
Красотой своей блистала
Мелетриса, дочь царева.
В красоте она совместица
Не имела, и не можно
Было чувствовать к ней зависть;
Зане столь была всех краше,
Столь добра, мила, приятна,
Что вблизи ее не смела
Зависть яд пускать свой черный,
И ее ехидны люты,
Мелетрису зря, немели.

Красота толко дивна
Привлекала всех вниманье,
И чувствительность сердечна
Ей платила долг природы,
Воспылав огнем любовным
В груди рыцарей надменных,
В груди рыцарей влюбленных.
Все ей нравиться старались,
Всем хотелось полюбиться
И во юном ее сердце
Воспалить любовный пламень.

Но меж многими другими
Отличались перед всеми
Своим мужеством, красою,
Своим нежным угождением,
Своей силой и богатством
Два царевича приезжих.
Один горд, спесив, надменен,
Взоры пылки, взоры страстны,
На лице черты Алкида,
Но Алкида в летах юных;
Рост и стан его и взрачность
И осанка величава,
Лицо смугло длинновато,
Черны кудри по раменам,
И густой браны начало;
Длань широка, персты толсты
Всем довольно возвещали
Его мужество и силу.
Он наездник в ратном поле,
Богатырь и вождь и воин,
Дадон сильный — ему имя.
Но не только в ратном поле
Подвизался он с успехом;
Столь же славен он у женщин;
А хотя в любви он страстен,
Но подвластен ей он не был,
И с Алкидом чтоб сравниться,
Лишь ему недоставало
Десяти жен и дев красных.
Пятьдесят дочерей Фиспия;
И одной лишь только ночки,
Чтоб ему отцом быть нежным

Пятьдесят раз вдруг в семействе.
Славу рыцарю толкико,
Нет, нельзя не полюбиться
Мелетрисе, страстной, пылкой;
А тем больше, как лишь вспомнит,
Что объятья повторенны
В пятьдесят раз нераздельно
Каждую ночь возобновятся.
Пусть бессонница всегдашня
(Столь ужасная больному)
Ее мучит на постеле.
(Но сам друг) и жизнь преторгнет;
Так Рафаэль из Урбина,
В свете славный живописец,
Душу выслаал вон из тела.

Другой рыцарь вежлив, скромн;
Сердце, душу имел нежны,
Очи быстры голубые,
Лицо бело и румяно.
По плечам златые кудри,
Вид, осанка Адонида.
Но он храбр; счастливый рыцарь,
На бою проворен, меток,
Всегда разумом вождем,
Зрел опасность твердым оком
И в бою смерть хладнокровно.
Он всегда венцы лавровы
Пожинал на ратном поле,
Но не силою десницы,
Не удачей, не коварством
И не крепостью доспехов

Побеждал Гвидон противных.
Правды, истины поборник,
Меч его победоносный
Никогда не обгарялся
Кровью слабых — иль невинных,
Он защитник утесненных,
Разрешитель уз и плена,
Непорочности спаситель,
И его смиренно сердце,
Душа нежна, душа тиха
Воспалялась гневом львиным,
Когда видел он коварство,
Ложь, строптивость и насилье,
Угнетающих бессильных;
Тогда воин милый, тихий
Бывал враг непримиримый,
Бывал бич неукротимый
Злобе, буйству и прельщению.

В таковых душах царевна
Любовь сильну воспалила.
И хотя со перва взгляда
Мелетриса подарила
Свое сердце все Дадону,
Объявить того не смела,
И надежда в ней исчезла
Быть его женой когда бы;
Зане мноюю услугой
Гвидон юный украшался,
Спасав царство и Кирбита
От насильств вождей хозарских.
Царь Кирбит за то в награду

Назначал его в супруги
Своей дщери, Мелетрисе,
В том признании вождаем,
Пользой царства и рассудком.
Заклучение неложно,
Что спасителю народа
Управлять его браздами
Других паче всех довлеет.
Гвидон был единокровный
Сын на троне старца мудра
И ближайша во соседстве.

Во дни красны, безмятежны,
По скончаньи бедств военных,
Царь Кирбит во утешенье
Своей дочери прекрасной
Игры рыцарски затеял
И глашатаям повсюду
Повелед трубою бранной
Созывать на состязанье
Витязей из царствий разных.
Он хотел при их собраньи
Дать наследника престолу,
Дать супруга Мелетрисе
Храбра милого Гвидона;
Зане там, как прежде в Францьи,
Скиптр не мог никак достаться
В руки, пряслицей что правят
Или швейною иголкой.

Уж из дальних и из ближних
Стран слетаются стадами,

Как вороны на гумнище,
Славны рыцари в доспехах.
Молодые, пожилые,
Средних лет и с сединами.
Иной едет повидаться
Со красавицей своею,
Распестрив свое оружие
Поперек и вдоль, крест-накрест
Тем любимым из всех цветом,
Что понравился пред всеми
Обладательнице милой
Его чувств, души и сердца.
Другой едет, чтоб прославить
Силы крепкой своей мышцы
И прибавить хоть листочек
Во венец, уже столь тяжкий
От побед в кровавых битвах
Иль на славных поединках.
А иной, кружась по свету,
Ко Кирбиту в гости едет,
Как в гостиницу обедать.
Воружась иной от темя
До пяты и даже зубы
Воружив булатом, сталью,
Смело, борзо выступает.
Объявляя всем надменно,
Всем, про то кто ведать хочет
Иль не хочет, написавши
На своем щиту огромном
Золотыми все словами:
Не терплю ни с кем сравненья;

А там выйдет на поверку,
Что наш рыцарь пресловутый
Позевать приехал только,
И к несчастью случилось,
Что его десница страшна
Онемела, заболела,
Паралич ее ударил;
А то б он единым взглядом
Повалил всех, опрокинул,
Разогнал, развеял прахом.
Что же прибыли? Игры все
Стали б вовсе в пень. — Нет, лучше,
Что болезнь, ему случившись,
Всех оставила в порядке.

Были рыцари не хуже
Славна в свете Дон Кишота.
В рог охотничий, в валторну
Всем трубили громко в уши:
«Дульцинея Тобозийска
Всех прекраснее на свете».
А как воззришься в красетку,
То увидишь под личиной
Всех белил, румян и мушек
Обезьяну, или кошку,
Иль московску щеголиху.
За такую прелесть дивну
Он, однакож, снарядился
На помол отдать все кости.
Но нет нужды знать причину,
Для чего они дерутся,
Мы лишь скажем одним словом,

Что их съехалось отвсюду
Столько, — столько — что нет сметы.

Поле рагно, окруженно
Со всех стран, амфитеатром
Возвышалось. Тут дубовы
Скамьи были все покрыты
Рытым бархатом, парчами,
Алтабасом изощренным.
Везде видно серебро, золото
И камни дорогие;
Хитрость зодчества, ваянья
Превышала тут богатство;
И художество в союзе
С драгоценностями земными
Вид изящности давали
Несказанной всему зданию;
Но искусство свои силы
Истожило под престолом,
Уготованным царице
С ее дочерью прекрасной.
На столпах кристальных твердых,
На сапфир во всем похожих,
Что огнем искусство хитро
Из сожженна в пепел древа,
Из песка иль камня бела,
Зной сугубя, сотворило,
Возвышался свод порфирный,
Испещренный весь цветами,
Где, природе подражая,
Рука мастера искусства
Изваяла их из золота.

Перлы светлы и жемчужны
Внизу свода, меж столпами
Вкруг висели ожерельем.
Вверху свода образ светлый
Возвышался в виде буйном
Той богини, вслед которой
Праотцы славян издревле
Вихрем бурь носились всюду. — —
«Лучезарная богиня,
Слава, дщерь мечты, призраков!
На престоле мглы блестящей,
Звезд превыше и Олимпа,
Из-за облака золотого
Кажешь ты венцы лавровы.
Но лицо твое кто узрит?
Кто сущность постигнет
Твою? — Легкой ты завесой
Паров утренних, прозрачных
Прикрываешь черты шатки;
И тебя сквозь их лишь видит
Пылкий взор воображенья.
Лишь оно тебя рисует,
И такими лишь шарами,
Как ему угодно только». — —

Посреди широка поля
Жертвенник из твердой стали
Блещет зеркальным сияньем;
Фимнам тут не курится,
Брус стланцова черна камня
Тут лежит на изощреные
Копия, меча, булата,

Чем обильны всегда жертвы
Славе в честь приносит воин.
Ибо нет полов с причетом,
Ни жрецов у ней священных.
Кто грудь смелую имеет,
Твердый дух в бедах на брани,
Кто храбр, мужествен, отважен,
Тот есть жрец сея богини.

День настал уже тот грозный,
Равно скучный и веселый,
Где богиня лучезарна
Уделит своего блеска
Гордым всем своим любимцам
Иль покроет грязью срама
Всех тех, коим она кажет
Свой затылок безволосый.
Зане так же, как фортуна,
Сестра славы, легконога;
У ней волосы тупеем
Растут спереди косою,
А затылок весь плешивый.
Они моде сей учились
(Мы здесь скажем мимоходом
Для того, кто не читает
Путешествиев всемирных)
У мунгалов иль китайцев,
Иль в Тибете, иль Бутане,
В той стране благословенной,
Где живет тот царь священный,
На востоке столько чтимый;
Его бабка повивальна

Рассказала, и все верят,
Что он выше всех на свете,
Никогда не умирает;
Его смерть не есть кончина,
Его смерть есть прерождение;
Что в мгновение то ужасно,
Как дух жизни непостижный
Обветшалое жилище,
Мертвый труп наш оставляет,
Божество сие двуножно
Преселяется в младенца
Или в юноша любезна;
Чтоб счастливым правоверным
Опять в знак щедрот небесных
Рассылать (но на закуску
Для десерта в день торжествен)
Своих сладких яств останки,
Что в священных его недрах
Благодатная природа
В млеко жизни претворила.
Вещество сие изящно,
В чем алхимик остроумный
Парацельс иль Авицена,
Или Бехер, иль Альберты
Злата чистого искали;
В чем счастливый Брант и Кункель,
Светоносный луч открывши,
Пред очами изумленных
Возжигали (без огнива)
Огонь в трубках и курили
Траву пьяну некоцьянску,
Табакон что называют.

Но где меньше их счастливицы
Все отеческо наследство,
Накопленно и стяжано
Кровью, потом и трудами
Иль грабительством, мздоимством,
Иль другим путем превратным,
Пережгли, передвоили.
О, сколь счастлив был бы смертный,
Если б все богатства в свете,
Злостяжанные неправдой,
Обращались чудесно
В вещество сие изящно,
Далаи-Лама которо
Всем в подарок правоверным
Для десерта рассылает;
Если б в нем фосфор блестящий
Раз сверкнул и превратился б
В пары светлы, исчезая;
И исчезнув бы, оставил
Лишь уханье амвросийно,
Столь известное в природе;
Дабы знали, сколь есть смрадно
Злостяжанное богатство,
Хотя блещет лучезарно.

Еще в Зичеву коляску
Перстоалая Зимцерла
Коней светлых не впрягала,
И клячки огнебуры
На конюшне Аполлона
Овес кушали эфирный,
Как прекрасна Мелетриса,

Не смыкая своих векдей,
Ложе скучно, ложе девства,
Ложе томно одиночества,
Свое ложе оставляет
Прежде, нежели петел громкий
Запинательным напевом
Не воспел нам час полночный.
«О! несчастная всех больше! —
Мелетриса так вещает. —
Почто в свете я родилась?
Почто зреть мне светло солнце,
Если жизнь влачить плачевну
Осуждена я не с милым.
Или щедрая природа
Моему лицу румяну
Дала прелести опасны
Для того, чтоб в горькой доле
Я потоком слез горючих
Их цветы весенни ярки
На расцвете сорывала!»
Так завыв, царевна наша
Распускает длинны космы
По раменам обиженным.
Она, вставши со постели
В одной тоненькой рубашке,
Ни юбочки, ни мантильи,
Ни капота, ниже шали
На себя не надевала
И по горницам без свечки,
В темноте густыя ночи,
Всюду ходя, выла волком.
«Нет, не думай, чтоб досталась

Я в объятия Гвидону!
Пусть скорее ненавистна
Горька жизнь моя прервется,
А тебе, мучитель брачный,
Лишь достанется в укору
Мое тело бездыханно!..»
Без ума почти, в потемках
Она ходит, везде ищет
Вожделенного орудья
Безнадежному в злом горе
На скончанье скорой смертью
Жизни, ставшей ненавистной.
Со мгновенья на мгновенье
В ней отчаяние, томно
Сперва, стало уж лютее;
Не нашла себе в отраду
Ни ножа, ни же иголки,
Ни копыя булатна крепка,
Ни меча, ни сабли острой,
Ни же шпаги — хотя б бердыш,
Или ножик перочинный,
Или вертел ей попался — — —
Но злой рок был столь завистлив,
Что все вещи смертоносны
От нее как в воду спрятал,
Ей так подлинно казалось.
Но мы в том не обвиняем
Ни судьбы, ни чародейства,
Чтоб царевне в злу насмешку,
Чтоб от горькой Мелетрисы
Они сталь, булат, железо,
Все попрятали в колодезь.

Одно было тут волшебство,
То всегдашнее волшебство,
Что в подлунной совершает
Земли суточно течение;
То волшебство несказанно,
Где, с подмогой воображенья,
Видим мы весь ад разверстый,
Домового, черта, ведьму,
Или рай, или — что хочешь;
То волшебство, одним словом,
Было тут простерто всюду,
Была — ночь, и было темно,
Глаза выкоми хоть оба.

Говорят, сопротивленьем
Всяка страсть в нас коренее,
Всяка страсть ярится с силой.
Как вихрь бурный дует в пламя
Иль мехов насосных сотня
В гори (сложенные все вместе)
Верзят воздух, в них стесненный,
Клубоомутной струею;
Вдруг зажженный уголь рдеет,
Зной палит в нем черно сердце,
Уголь горит, со треском искры,
Как пращом, в окрестность мечет,
Дым клубится, вихрем вьется,
Жар и зной уж все объемлют,
И одно, одно мгновенье
В горне видишь огонь Геенны...
Так царевна, не нашедши
Ни меча, ни остра шила,

Злу отчаянью вдается.
Лбом стучит во всяку стену,
Бросясь на пол, бьет затылком.
Но предательны помосты,
Покровенные коврами
Шелку мягка шамаханска,
Ее гневу лишь смеются.
На них вместо смерти лютой
Она волосы ерошит.
Но опомнясь, воспрянула,
Как младая легконога
Серна скачет с холма на холм;
Воспрянула, луч надежды
Протекает ее сердце.
«Нет, сложась стихии вместе
Не возмогут тряхнуть душу,
На погибель устремленну.
Тот умрет, кто жить не хочет». —
Так воскликнула царевна.
Она бросилась поспешно
К тому месту, где спит мама,
Ее мама дорогая;
Карга — имя ей в истории;
Над постелей Карги мамы
Был вколочен гвоздь престольтый,
Большой гвоздь и деревянный;
Он длиной в аршин иль больше,
На который Карга мама
По ночам трех соболей
Свой обькла всегда вешать.
На гвозде сем умышляет
Скончать жизнь свою царевна...» —

«Как! — вскричала тут старуха,
Прервав речь Бовы поспешно, —
Скончать жизнь таким же средством,
Каким девы Вавилонски
Жизнь давать учились дровае!!
Или в честь священна Фала
У вас жертва не курится?
Или образ его дивный
Вы не носите на выях?
О народ, народ продержкий!
Презреть Фала, Фала сильна,
Что жизнь красну дает в мире!
Кем живет все, веселится,
Без чего бы и вселенна,
Забыв стройное теченье,
Стала б дном вверх, кувырнулась.
Зане Фал есть ось та дивна,
На которой мир вертится.
Фал — утеха Афродиты.
Фал — то яблоко златое,
За которо три богини
Пощипались на Олимпе,
Вцепясь бодро в божьи кудри».

Бова слушал в изумленьи
Свою дряхлую подругу.
Видит, жаром необычным
Засверкали ее очи,
Вздохи вздохами теснятся,
Воздымают грудь иссохшу.
Потягота во всех членах,
Жар гортанью ее пышет,

Во рту скрип зубных остатков.
Но вдруг взоры ее меркнут,
Млеют члены и слабеют,
Стары ноги протянула,
Сомкнув вежды, испустила
Тяжкий вздох и покатилась,
Чуть-чуть с печки не упала.
Бова старую подругу
Подхватила в объятья нежны.
Он уж думал, черна немочь
Ее дряхлу жизнь скончала
И последняя отрады
Навсегда его лишила;
Но с веселием он видит,
Что в старухе сердце бьется,
Что в ней кровь не охладела.
Очи томны отверзает
И, вздохнув, она легонько:
«Ах! любезный мой, — вещает, —
(Зри, сколь Фала почитаю)
Зри его священный образ,
Что скудельницей рукою
Изваян из глины хитро;
Се утеха моей жизни.
Се надежда мне по смерти.
Голод, жажду утоляет,
Нектар он и амброзия!..»
Бова видит; ужаснулся,
Образ Фала у старухи;
Он дивится... Кто не знает,
Не читал кто во истории
Древней, повести народов,

Тому слог наш непонятен,
А Бова хотя и видит,
Но что видит, он не знает.
Так во глазе сетка чувствий,
Ослабев иль уязвлена,
Жизнь, чувствительность теряет.
И то чудно, велелепно,
То божественное чувство,
Чувство зренья изящно,
Чем все вещи для нас в свете
Оживляются шарами
Преломленных лучей солнца,
Вдруг померкнет, тмится, гаснет,
И предметы ярка света
Погружаются в тьму мрака.
День прошел и сочетался
С ночью, или ночь настала
Во очах, ночь непрестанна.
Словом, слеп кто, тот не видит.
Так, истории не знаяши,
Не узнал Бова наш Фала
И был слеп в своих познаниях.
А старуха, то приметя;
«Продолжай, — она вещает, —
Свою повесть ту плачевну».
Бова, вынув платок белый,
Оттирает чело старо
Своей нежныя подруги,
У которой пот горохом
В испуленьи показался.
Пот проймет и не старуху,
Когда корча нервы тянет,

Когда мышцы все трепещут,
Грудь вздымается от вздохов
И упруго сердце бьется,
Так, как древняя Пифия
На треножнике священном
Дрожит, рдеет, стонет, воеет...
Ах! всегда в сие мгновенье,
Когда жизнь в избытке льется,
Бог нас некий оживляет!

Конец первой песни

ПЕСНИ, ПЕТЫЕ НА СОСТЯЗАНИЯХ В ЧЕСТЬ ДРЕВНИМ СЛАВЯНСКИМ БОЖЕСТВАМ

Тогда пускает 10 соколов на стадо лебедей,
которой дотечаше, та преди песнь пояше...

Песнь на поход Игоря на Половцев, стр. 3.

ПЕСНИ ДРЕВНИЕ

Певец лет древних славных, певец времени Влади-
мира, коего в громе парящая слава быстро про-
неслась до Геллеспонта, *Боян*, певец сладчайший,
коего глас, соловьиному подобный, столь нежно
щекотал слухи твоих современников; возложи,
Боян, благозвонкие твои персты на одушевленные,
на живые твои струны; ниспошли ко мне песнь
твою из горних чертогов света, где ты в беседе
Омира и *Осснана* торжество поешь ироев древних
или славу богов; ниспошли, и да звук ее раз-
дается во всех краях, населяемых потомками ко-
лен славянских.

Велик был день у славянского народа, день посвященный первейшим их божествам, сильным Перуну, благодетельным Святовиду и Велесу, буйным Стрию и Позвизду, Нию и Чернобогу грозным, благой Ладе, Лелю и Полелю и всещедрому Дажьдбогу. От всех колен славянских, от Ильмена и Новаграда, с холмистых берегов Клязьмы, от Галича и Дуная, с Помория и Моравы, с вершин Альпийских и с моря Адриатического собирались для общего торжества к великому Киеву старейшины, князи, бояре и гости и тьмы народа бесчисленного. Вели они с собою сладкогласных песнопевцев, да в оный день великий прославят песнях своих богов и витязей и слава языка славянского да промчится во все концы известной тогда мира.

Утром рано в день торжества, едва первая стрела лучезарная излетела от молниенного убруса жаркого Зничя, как сильные гласы труб, цевниц, бубнов и тимпанов возбудили всех стекшихся из дальные долины, пестроцветною муравью покрытые, где Днепр, пробив пороги с шумом и пеною тихою в Анман течет струею. Князи, песнопевцы, витязи и все начальники вступают во златые стромена, шествуют стройно на конях своих бодрых, идут стязи пред ними, хоругви возвезаются по воздуху; священники в одеждах белых льняных, багряными поясами одержимых, ведут жертвы, украшенные цветами юных дней нежнодышащего мая. За ними вслед резвою толпою идут лица юношей и дев, сонм жен в соборе радостном и народ созиди, в одеждах мирных, шествуют медленно.

И се лиется уже кровь тельцов, юниц и агнцев. Лики общую возгласил песнь. Ветр принул свое дыхание, дым курения ароматного и всесождения выходил серым столбом за облаки. Десять избранных песнопевцев от различных племян славянских стали строем на берегу древнего Ворисфена; каждый из них несет на правой руке своей сокола быстрого, в левой держит звонкие гусли. Издавна возникли шумные гласы труб, цевниц и тимпанов, возбудили вздремавших по утренней пище лебедей на струях Днепровских. Зане обычай был таков, что сокол, поражающий лебедя, назначал чреду песнопения, и чей был первый, тот первую воспевае песнь, и все другие по чреде своих соколов.

Возлетают лебеди, высоко вноются под легкими утренними облаками. И се, яко стрелы от звенящих тетивы, твердым луком напряженные, летят стремительно десять соколов, пушенных с рук десяти песнопевцев, пришедших на состязание издавна; состязание, достойное игр Олимпийских в счастливые времена Элады. — Летят соколы; и чей первый настиг лебедя? Се твой сокол, о Всеглас, житель юный берегов Ильмена, он ударил лебедя в белую грудь; возлетают пух и перья по воздуху; кровь капала дождем из-за облака; священники тчатся восприять ее в чаши златые, зане тайственно вещают. Лебедь упал мертвым к стопам коней княжских, а сокол-победитель летит на десницу Всегласа. Глас труб и цевниц возвестил чреду первую.

Сокол второй. Он твой, о Крутосвист, житель ближайших гор Тмутараканя; поразил лебедя полумертвым и сам, возвившись под облако высоко,

упал вниз стремглав и воссел на десницу вождя своего торжествующ.

Сокол третий слетел с руки Хохта от устья Дуная; ударил лебедя, но тщетно, и в третий раз мог только его повергнуть на землю бездыханно.

Сокол четвертый рожден на вершинах гор, близких моря Адриатического, Черными горами именуемых. Принес его Звен, потомок славных сокольников Пирра, мечтавшего завоевать вселенную.

Пятый сокол — Тиховоя, коего предки, оставив Кипр, преселилися сперва в Гесперию, потом перешли жить в Поморие и принесли с собою обряды служения благотворным Лады. Он лебедя тихо поражая, но часто, пригнал его утомленна и жива к стопам своего господина.

Пять последние соколов, хотя не столь знаменитые победители, но не отпустили своєю добычи и утомленны пали с нею на землю.

И се воссели десять песнопевцев по чреде побед своих соколов на уготованных для них зеленых одах; за ними стали лики юнош и дев раздельно. Священники воскурили фимиам...

Настроя звонкие свои гусли, тако воспел:

Всеглае

Перун, о бог всеильный,
Зиждитель мира, царь
Всего того, что видим!
Не слово ли твое всеильно,
Что слышно нам во звуках грома,
Что гор сердца кремнисты,
Творению событий, современных,

Уругой зыбию колеблет,
Не слово ли твое
Воззвало в бытие
Все то, что око наше зрит,
Или все то, что мыслию постигнуть
можем?

Се ты, о боже сил!
Се шествуешь хлаидой звездною одеян,
Носимый духом бурь и ветров.
Восток, Юг, Север и Стрий буйный сам
Твои суть слуги,
Земля подножие твое,
А дальный эфир, дальный,
Превыспренний твой одр.

Венчан стихийным светом,
Рождающей одеян теплою
И творчей силой препоясан,
Воссел, о ты, непостижимый!
В пространстве, в пустоте,
Среди смешения, среди хаоса,
Средь ночи древняя и всюду мрак.
Воссел, да зиждешь и творишь,
И образы да дар твой будут.

Се там, престолу твоему,
Где молния не знала крыл своих,
Крыл огненных, в полете быстрых,
Где гром еще молчал, немея,
Где свет, где сушь, где влага,
Вскормленны вечности сосцами,
Росты бездейственны хранили
И где движенье, жизнь в тебе едином,

О бог! делясь, были;
Се там предстали и явились
Престолу твоему
Твои все слуги, твои силы:
Знич светлый, жаркий, жизнедатель,
Велес, отец сей будущих животных,
И Позвизд и Купало,
Скрывавшие в своих огромных недрах
Всемирный океан,
И реки, и озера;
И Ний, отец земли, и крушц, и камней,
И мать рожденья Лада,
Всесочетающей любви бог.
Воссел, и тихое
Благоговейное молчанье
(Торжественный предтеча
Зниждительного слова)
Повсюду было,
Ко бытию готова вся...
Се творчес изыде слово...
Уже начало восприяли
Движенье, жизнь и бытие...
И ты, неведомый,
Не мыслимый никем,
О бог, отец, зниждитель,
Стал чувствуем, стал ощущаем,
И чадо юное твое,
Руки твоей творенье,
Подъяло край завесы древней,
Завесы вечности, — и ты стал бог:
Зане, что ты, когда тебя
Никто не мог постигнуть,

Иль чувствовать, или видеть?
Се Знич и Лада с сыном,
Велениям твоим послушны,
Живят и греют, сочетают...
Все движется, приивши жизнь.

Чудесности исполнилась вселенна!
Но всё творенья суть
Лишь слова твоего; — — —
Нет, мысли лишь одной,
Твоей лишь мысли необъятной. —
Зри, там в пространстве неба и эфира
Тела вращаются велики, светлы,
В согласьи стройном, дивном,
В гармонии чудесной.
Что там? Или кто там живет?
То ты один лишь знаешь
Или твои лишь слуги сильны.
Здесь, виждь, велел ты Нию сушу
вдвинуть,

На ней горам взнести
Свои верхи крутые, льдяны,
Иль пропастьям, разинув хляби,
Вмещать в широки недра земны
Или блестящие крушцы,
Или сверкающи кристаллы.
Уж Позвизд махом своего трезубца
Возбрызнул океан на сушу,
И влага, напоив всю землю
Потопа общего разлитьем,
Раздвинуто лицо свое превыше гор
В моря, в озера, в реки собрала.

Познал свои пределы понт,
И реки буйно восшумели
Через каменные скалы,
Через бугры кремнисты.
Крутясь, стремясь иль извиваясь
Меж нив, полей, лугов;
Текут они, прозрачны, тихи,
Во чрево обще вод,
В понт синий, в понт глубокий.

Уж Знич со Ладюю в союзе
Взлегли на одр супружний, одр туманный.
И тепла мгла в парах прозрачных
Взлетела и взвилась высоко
Се, зри, туманы серы там,
Собравшись, сгустившись выше,
Вступили облака горами,
И Стрий налег на их рамена;
Юг, Север вниз и вверх бунтуют,
Оставши буйны чада
Истлевшего хаоса,
И перва буря роет волны.
Летит дождь теплый вниз на нивы,
Где вслед всезидущим твоим веленьям
Велес на свет извел вола
И всех зверей дубравных,
Где Дажь благой и щедрый
Родил древа и злаки.

Но ты, отец, с улыбкою рожденья
Возвел свои зеницы светлы
На юный мир, на юну землю;

Ты, видя счастье, блаженство,
Повсюду в блеске расширенно,
Добро ты видя всюду,
Еще помыслил ты,
Се паки сильно свое слово,
Беременно еще твореньем,
Явилось в мир,
Явилось облечено в персти.
Се образ твой, о сильный!
Се образ дивный, возниченный;
Се дух твой или слово,
Живущее в жене и в муже...
О человек, творение чудесно!
Творенье бренное, о царь земли!
Ты слаб, ты червь, ты мал.
Пылинка ты в сравнении всего;
Но силен, но велик умом,
Ты мыслию божествен,
Зиждатель и творец!

Велик, велик ты, о Перун!
Когда разверзишь длань свою широко,
Из коей льются изобильно
Благодеяния щедроты,
И мир, и тишина, и счастье;
Когда ущедрит нас
Посланник благ твоих великих,
Посланник твой Дажьбог,
Велик ты также и ужасен,
В ночи несясь туч синих, черных,
Когда преступны человеки,
Твой образ исказив пороком гнусным,

Сзывают гром твой с небеси!
Твой гром губительный, карающ,
И стрелы молнии твоей крылатой.
Тогда твоя десница сильна, рдяна,
Вращая огонь, удар вознесши вверх,
Превыше всех верхов холмистого Олимпа.
Низвержет молнию и гром.
И звук и треск, и смерть и ужас...
Бегут животные, трепещут
Пред взором твоего лица паляща
И кроются в вертепах темных;
Сердца сотряси всех строптивых,
Не смерть ты шлешь, но знак благоволения.
Ты паки стрелу сизу молнии светлой
Верг махов в дол,
И гром твой глухоутлозвонный
Ударил с треском в верх сосны ветвистой
И раздробил ее в обломки малы.

Но ты тут не ужасен, о Перун!
Тебе сосна была та посвященна;
Под ней покоилася любимец твой Седглав,
Седглав, твой жрец верховный, прорицатель,
Принесший жертвы, о Перун! тебе обильны,
И сто тельцов и сто волов, овнов только ж.
Любезна первенца лобзает,
И юношу сего любезна
И сына сердца и души
Он в дальний путь готовит, устрояет,
И пред лицом твоим
Он отчее ему дал наставленья:

«Ты юн еще, о сын мой милый!
О Велеслав, ты юн;
Но был уже свидетелем злосчастий
И бедствий пагубных войны. — — —

Уже прошло тому и год и больше,
Как многолюдные колена кельтских,
Сложив свои все силы
Во ополчение единое,
От мыса, в дальном море вон торчаща,
Иль от конца земли,
Чрез Северный Улин, и Тул, и Морвен,
И острова Гебридских,
И все берега обширной Скандинавии
До самых тех берегов
И низких и болотных,
Где тихая Нева
Свои глубоки волны
Из Ладоги влечет
И томною своей струей, почти прямою,
Весь сонм своих валов бесшумных
Исхлынула в Варяжско море, там,
Где мглой всегда Котлин покрытый
Косой иссунулся далеко в море.
Сердца, глубоко уязвлены,
Что племена славянски сильны,
Ступая во следы широки, звучны
Своих усопших предков,
Оставивших свои
Пылающие веси
На берегах бушуйной Адрии,
Эпир, Иллирик и Панюньо

Губителям вселенной в Риме,
Простерли меч победоносный
За многоводную струю Дуная,
За Днестр, за Буг, за Вислу,
За славный Ворисфен
И даже до берегов камышиста Ильменя.
Откуда Волхов извлекает
Обильное соборище вод желтых
И чрез пороги между скал гранитных
Мчит их в сожитие
Вод Ладоги пространной;
 Восстали,
 Покрыли
 Варяжски
 Пучины
Несметной тьмой ладей,
Прошли они
 И Рюген,
 И Даго,
 И Эзель.
Прошли они Котлин
И устье тройственно Невы.
Тут, сняв с судов высоки щеглы,
Подобны лесу темну,
Без листвия, опустошенну
И молнией и бурей,
Веслами воды рассекая,
Шли вверх Невы, шли Ладогой,
Вошли во устье Волхова
И павли до его порогов.
Оставив тут суда,
Пошли во строе ратном,

Простерли ужас и беды,
Смерть, пламя и оковы мыча
По нивам, по холмам.
Восплакали славянски девы,
Рабыни став врага;
Взрыдали жены, дети,
Лишась супругов и отцов.

Уж кельтско ополченье
До того достигло места,
Где твой славный дед, отец мой,
Где великий Ратомир
Новгорода начатки
Близ Ильменя положил.
Уж дымятся, пламенея,
Верхи новы и высоки,
Кровь ручьями льется всюду.
Мала стража городская
Скоро смерть мечом вкусила,
И сто юных храбрых воинов,
Врата града защищавших,
Копьем сражаясь, пали,
Жертва силы превосходной,
Предпочтив поносу плену
Смерть. Вломившись в наши стены,
Простер враг насильство всюду.
Ты тому свидетель сам был,
О мой юный друг, друг милый!
Как их меч, носясь по стогнам,
Не щадил славянской крови,
Как младенцы, жены, старцы
Погибали беззащитны.

Вихрем буйным рыщут всюду,
Огонь, и гибель, и крушение
Везде сеют, простирают,
И смерть бледна воспарила
Над главами всех, готова
К извержению кончины
Общей всем, что живо было.
Ах! почто, почто несчастный
Не погиб, плачевна жертва
Я их лютости и зверства.

В среде зеленой кущи,
Рукой моею насажденной,
Сидела мать твоя и та,
Которую рука моя вскормила,
Душа моя дала которой душу
И сердце мое — сердце;
Которую Перун, и я, и мать твоя,
И тем ты, друг мой юный, нарицал
Возлюбленной уже подругой,
Твоей подругою навек.
Тогда под сень смиренну нашу
Бегут, как алчны львы, рыкая,
С мечом, с огнем в руках
Враги победоносны.
«Кто ты? — Кто ты?» —
Вещает им Ингвар суровый,
Он вождь полков был кельтских;
Высок, дебел, и смугл, а очи малы
Как уголь сверкала раскаленный
Из-под бровей навислых и широких;
Власы его кудрявы, желты, густы,

Покрытые огромнейшим шеломом,
Вскакоченно лежали дщинны
Врознь по его атлантовым раменам.
Рука его была как ветвь престола
И суковата ветвь огромна дуба;
Увесиста, широка длань.
Был глас его подобен
Рычанию вола свирепа,
Когда, смертельно уязвленный,
Несется он по дебрям, по долинам;
«Кто вы?» — вещает паки к изумленным
Он диким и суровым гласом.
Первосвященника Перунова супруга
У ног твоих. «Восстань, иди со мной».
А мы? .. А я с тобой, — вещал
Седглав, тут проливая
Обильные потоки слез, —
Отсутственны мы были и ходили
В соседственный Холмград.
Там мы с тобою
На сделанном берегу высоком,
Где столп Перунов возвышался,
Курили финнам.

И се вопль наш слух пронзает;
Мы по стогнам зрим Холмграда,
Бегут, мычутся в боязни
Жены, девы и младенцы,
Кои, жизнь спасая бегством,
Утекли из Новаграда.
«Мы погибли, — восклицают, —

Погиб Новый град и, в пепел
Превращен, не существует.
Уж воинственные трубы
Вострубили, уж стекались
Все полки славянски; строим
Все идут ко Новуграду.
Сердце наше предвещало
Бедство нам, и скорбь, и слезы;
Мы, полки все предваряя,
На коней воссели легких,
Скачем быстро и несемся,
Но, о зрелище ужасно!
Рабьинь наших мы сретаем, —
И несут уж хладно тело
Твоей матери Препеты.
«Поспешай, — тебе вешала
Мать твоя чуть слышным гласом, —
Поспешай, коли возможно.
Чаромила унесена
Вождем кельтским в ладню...»
Хлад и смерть вдруг распростерлись,
Очи меркнут — — прервалось
Ее томное дыханье,
И — душа вон излетела...» —

Старец умолк — и, очи поникши, стоял
неподвижно.
Будто на казнь осужденный, Протекшие скорби
представи
Живы уму его, силою воображенья. Хладеет
Кровь в его жилах; колена трепещут; дыханье
стесненно

Грудь воздымало его. — Восседает. — Юноша,
к старцу
Очи, исполнены слез, обративши, так вещает:

«Мы шли с воинством поспешно...
Я с друзьями тут моими,
Отделясь от всех далеско,
Вниз по Волхову неслася.
Но, увы! уж поздно было.
Погрузив корысти многи,
Сребро, золото и каменья,
Рухлядь мягкую богату,
Хладна Севера избытки,
Жен и дев восхитив многих,
Враги наши плаыли скоро,
Плаыли вниз, едва лишь видны.
Не вдаваясь напрасну
Мы отчаянью, обратно
Мы помчались к Новуграду.
Тут, встречаясь с ополченьем
Сих врагов нестозлобных,
Мы карали их измену;
Гнали, били и мертвили
И во Новгород вступили
По телам сих лютых воев.
Но возможно ли вспомнить
Те минуты равнодушно,
Те минуты преужасны,
Как мы в Новгород вступили?»

По стогнам летала
Смерть люта и бледна,

Широко простерши
Чугунные крылья,
Уж воинство кельтско,
Досель разлиянно
В домах и по стогнам
Велика Новграда,
Стекалось в едино,
Внушая вельню
Вождей своих лютых.

Мы, ударив
На них строем,
Опровергли
Их, попрали
И достигли
Скоро, скоро
Того места,
Где на вече
Собирался
Народ мирный.
Тут Ингвар, сей
Вождь суровый
И вождь лютый,
Связав руки
Вервью тяжкой
Ста дев, всл их
В плен, в неволю.

Увидев ужасно
Сие посрамленье,
Как львы возревели
Мы ярости гневом;

И буйны стремились
На воинство кельтско,
Старались отнять весь
Их плен и добычу,
Сталь сверкнула,
Смерть взлетела.
Мы разили
Врагов сильно;
И удары
От них страшны
Мы терпели,
Но вломились
Все мы строем
В полки кельтски.
Наконец их
Опрокинув,
Смерть им в сердце
Наносили,
И, стараясь
Дать свободу
Девам пленным,
Тьмы врагов мы
Истребили
И их души
Вероломны,
В крови черной
Источенны,
Отослали
В царство Ния.

Но, ах, пагубна победа!
Враги наши, стерженны

Поражением толиким,
В грудь пронзали всех дев пленных.
А хотя мы извлекаем
В грудь вонзенну харолугу,
Но душа, душа томленна
Излетала вслед за сталью
И лилася в крови дымной.

Ингвар, зря тут
Неудачу,
Отступает,
В строй поставя
Все останки
Своих воев;
Отступает
Во порядке,
В строю дивном
К струям желтым.
Он в ладьи тут
Восседает;
Он увез трех
Дев с собою,
Дев прекрасней
Всех во граде;
И, ах, с ними
Чаромилу!» —

«О друг мой юный! — глас возвыся.
Седглав тут рек. —
Настал уж день и час отмщенья;
Зри, многие полки славянски
Уже стекаются отсюда;

Услыши радостны их клики:
Се смерть, — гласят, — се пагуба врагам!
Бесчисленны ладьи готовы
Нести сих славных ратоборцев
Поверх валов Варяжска моря.
Народ славянский, помня все заслуги
Отцов твоих, отцов моих
И ведаю, сколь мне
Перун всеильный благодворен,
Сколь мил ему первейший его жрец,
Тебя единым гласом все колена
Вождем своим уж нарекли.
Гряди, гряди на брань
И смело подвизайся,
Край, рази врага, им отомщая
Все раны, кои он нанес
Тебе и мне и нашему языку;
Неси ты бурный огонь в селенья кельтски;
Лей кровь... ах! для чего
Бессильные мои рамена
Поднять не могут брони тяжкой;
Я был бы вождь полков славянских
И, мщеньем ярости
Непримиримыя пылая,
Вращал бы меч мой обоюдный
В груди и в недрах сопостатов,
Отмщая смерть моеи супруги;
Из трупов бы врагов, погранных долу,
Престол воздвигнувши высокий,
Тебе, Перун, тебе я сердце,
Из груди вражьей извлеченно,
Тебе бы в жертву я принес.

О! бог, всемогущий бог! —
Вещал Седглав тут в испуганьи, —
Отверзи очи ты души моей,
И книга будущих судеб
Да предо мною разогнется!»
Тут юноша простерся долу
В благоговеннии сердечном;
Воздел на небо руки жрец.

Вихри сильны вдруг взвились,
Буйны ветры тут завывали,
С тучей буря налетела,
Сиза молния сверкнула,
Гром ударил с треском сильным.
Поразил сосну священну,
И сосны верх возгорелся.
В испуганьи необъятном
Жрец, стрясаем богом сильным,
Громким гласом восклицает:
«О! род ненавистный
Славянску языку!
Се смерть, сто разинув,
Сто челюстей черных,
Прострет свою лютость
В твою грудь и сердце!
Восплачешь, взрыдаешь:
Не будет спасенья
Тебе ниоткуда...

Но... увы! мы только мщенье,
Мщенье сладостное вкусим!..
А враг наш не истребится...

Долго, долго, род строитивый,
Ты противен нам пребудешь...
Но се мгла мне взор объемлет,
Скрылось будущее время..
Зрю еще, — о сын любезный,
Ты по странствиях далеких
Наконец обрящешь живу
Ты любезну Чаромилу, —
Но я того уже не узрю» — — —

И се удар громовый повторился,
Земля трясется; жрец воскликнул:

«Иди, мой сын, иди,
Иди, о друг мой юный.
Се слава в облаке златом
Плетет тебе венец лавровый.
Зри, там чертог божественный отверст,
Он ждет тебя и воспримет,
Когда увянешь, не дожив
Блаженных поздних дней;
Но если смерть в полете своем быстром
Тебя на ратном поле дальном
Щадить не перестанет
И лютая ее коса
Тебя минует и допустит
Главу твою покрыться
Сребристыми космами,
Тогда блаженны дни твои пребудут
В объятиях супруги милой,
В среде любезного семейства,
Семейства многолюдна.

Спеши; се зрю, полки славянски идут.
Несут булатны свои копыя,
Несут, как лес густой. — —
О радость мщения, играй,
Играй ты в томном моем сердце;
Сие последнее да будет
Мне, старцу, утешенье,
Вознесшему уж ногу в гроб.
Иди, спеши, о сын любезный!
Победы лавр пожни блестящей;
Тебя еще да узрят мои очи,
Сим лавром увенчанна».

Жрец умолк и лобызает
Своего любезна сына;
Строй идет, и звонки трубы
В путь зовут всех ратоборцев.
Вспламененный отчим словом,
Буйный юноша в восторге
Тяжку броню воздевает,
Шлем взложил на верх свой гордый,
Меч висит у бедр, тяжелый
Щит, копьё в его руках:
«Прости, отче!» — — — он отходит.

Вои радостны воспели
Песни яру Чернобогу.
Жрец возвысил глас свой громкий,
Рек пророческое слово:
«О Перун, о бог всеильный!
Буди им поборник в бранях,
Буди в бедствиях защита;

О народ, народ преславный!
Твои поздные потомки
Превзойдут тебя во славе
Своим мужеством изящным,
Мужеством богоподобным,
Удивленье всей вселенной;
Все преграды, все оплоты
Сокрушат рукою сильной,
Победят — — природу даже, —
И пред их могущим взором,
Пред лицом их, озаренным
Славою побед огромных,
Ниц падут цари и царства. — — —
О потомки!» — — — но гром грянул,
Жрец умолк — — — он ощущает,
Что шествует в величьи тихом бог.

ПЕСНЬ ИСТОРИЧЕСКАЯ

Не красна изба углами
Но красна лишь пирогами
Пословица

Громы, гряньте, потрясися,
Ось земная, в основаньи,
Время быстро, ты исчезни;
Книга вечности разверзлась,
Я не в будущем читаю,
Не пророк я, не волшебник,
Не Дельфийская Пифия,
Но я время зрю протекше.

Се явился предо мною
Муж ума и духа сильна,
Что, народ спасая божий,
Море Чермное протекши,
Во пустыни среди глада,
Среди смерти мог устроить
Народ шаткий, легковерный.
Моисей во имя бога
Чудеса творил; законы
Дал Израильску народу.

И поистине, возможший
Управлять толпой народной,
Не быв призван на то ею,
Не имея пред собою
Предрассудка порожденья,
Может, может сказать смело,
Что посланник есть всевышня.
Моисей во имя бога
Жезлом правит, и законы
Среди молний, среди грома
Он со неба получает.
Умы шаткие восхитив,
Вождь был тверд умом и сердцем
(Магомет коварством многим
Быть хотел законодавцем,
Умы пламенны восхитив
Рая лестною картиной,
Он смерть сладкою соделал
Во объятых дев небесных;
Ученик его столь храбрый
Воин был непобедимый.
Он пошел струею быстрой
На победы, пред собою
Он народам удивленным
Возвестил: се избирайте
Алкоран иль смертоносный
Меч, и света половина
Пала пред его законом).
Се идет Семирамида,
Она кудри свои черны
Прикрывает златым шлемом;
Своим мужеством на брани,

Своим разумом в советах,
Твердостью во время смутно
Всех сердца, умы пленивши,
Она память истребила,
Что убийственной рукою
Она скиптр правленья держит.
Зри Навуходоносора,
Несяй бурно пламя браней
В стены нового Салема,
Сокрушил их, в прах развеял,
Разорил храм Иеговы,
И повлек он иудеев
В плен, неволю, в преселенье.
Седяй гордо на престоле
Златом, хитро изваянном,
Он зрит образ свой во храмах
Ко богам причтен; курятся
Ароматы драгоценны
В честь ему и днем и ночью.
Но се мгла густая зверства
На верх гордый налетает;
Царь царей теряет разум;
Он стал скот; в лесах дремучих,
В блатах, дебрях ищет пищи...
Так надменности на троне
Писал суд предвечный в небе.

Троя, Тир, Сидон, Карфага,
Древни хины и индейцы
И неведомы народы
Шествуют, покрыты мглою
Неизвестности; но блещет

Во среде столетий мрака
Слава мудрых, яко в туче
Молния в сверканьи светлом.
Зри, воспетые Омиром,
Ахиллес, Парид иль Гектор...
Зри, во пурпурных хламидах
Жители Сидона, Тира,
Алчбой злата устремленны,
На крылах несутся ветра
Во страны дальнейши мира.
Зри, потомки их в Карфаге
Накопляют прензбытки
Остроумною торговлей.
Ганнибал, о вождь предивный — — —
Но зуб времени железный
Сокрушил их град и славу —
Се потомки мудрых Брамов,
Узники злодеев нагих,
По чреде хранят священной
Свой закон в Езурведаме
Буквой древнего санскрита —
Древней славы их останка
И свидетеля их срама! — — —
О Конфуций, о муж дивный,
Твое слово лучезарно
В среде страшной бури, браней,
На развалинах отчизны
Восседадо всегда в блеске
И чрез целые столетья
Во парении высоком
Возносилось и летало...
Се идет твой современник

Зороастр; он во Персиде
Учреждает поклоненье
Духа жизни и вселенной
И на жертвеннике светлом
Огонь возжег, что пламенеет
Еще ныне в жертву богу.
Тако сила духа мудра,
Сохраняясь во потомстве,
Пребывает лучезарна
И живет, живет на вечность.

Се Кир старший, учредитель
Царства древняя Персиды.
Но чему о нем мне верить:
Или повести правдивой,
Иль Рамзеею в слогех красном?
Царь царей и царь великий,
Погибающий рукою
Томириды; отсеченна
Глава Кира восплаивает
В крови; слышу, глас вещает:
Пей, тиран, досыта крови,
Коей в жизни столь был жаждущ!

Се Эллада в блеске солнца;
Там ирон в лучезарных
Подвигах, будто светила,
На крылах стремятся ветров
Похитить руно златое.
Зри, Язон в стране волшебной
Превозмог в Колхиде страхи
Чарований и отравы,

И с руном он у Медин
Сердце нежное похитил.
Зри, Алкид как сокрушает
Вши дерзких и строптивых;
Разве богу то возможно,
Что он силою десницы
Мог исполнить в жизни краткой.
Странственных он избавитель,
Предал смерти Бузирида,
Он дал в съезд коням, обыкшим
Поядать дымящи мяса
Потребленных чужестранцев,
Во Фракии Диюмида,
Вепря злого в Ериманте
Обуздать мог вервью лютость;
Стрелой легкою пернатой
Он чудовищ тех пернатых,
Что в Стимфалии гнездились,
Сокрушил и предал смерти.
Не возмог никто противен
Быть ему на брани сильной.
В Лерне гидру он стоголаву
Поразил; в лесу Немейском
Льва ужасного исторгнул
Жизнь с дыханием мгновенно,
И во знак своей победы
Его кожу он космату
Возложил на тверды плечи.
Медяногу, златорогу,
Легкую в бегу он серну
Мог настичь; и даже бога,
В струях живша Архелоя,

Он, во образе свирепа
Тельца сильна он, поправши,
Рог исторг во знак победы.
Победитель он чудовищ,
Победитель он гигантов;
Сильна в мышцах он Анфия
Удушил в объятьях крепких.
Перед ним Кентавры дерзки
Как лист легкий возметались.
И те храбры жены древле,
Ненавистницы супругов,
Амазонки побежденны
И примером Иполиты,
Своей красныя царицы,
Что Алкид Фисею отдал,
Научились жить с мужьями.
Он предерзка Промифея,
Что с небес похитил пламя,
От злой казни избавляя,
Убил врана, что терзает
На Кавказе его перси;
И, пришед к пределам мира,
Океан где облегает
Шар земной, он столп высокий
Силой крепкия десницы
Подавил и вдруг раздвинул.
Две горы тут вознеслися,
Калпе, Абила, подножьем
Двух столпов, где начертанно
Сие дело баснословно;
Се предел, и море с шумом
Покатилося волнами

Во среду земель и весей. — — —
Он, наполнив весь мир славой,
Нисшел в царствие Плутона,
И привратника тризвенна
Обуздал он пса Кервера.
Но платя он долг природе,
Полубог, ирой, был слабый
Во объятях Омфалы
Смертной; палицу иройску
Гнусной пряслицей соделал.
Но и в слабостях божествен,
Сын царя миров предвечна.
Десять он супруг имевши,
Был отец потомства славна,
Многочисленна; исполнил
Наконец чудесный подвиг,
Быв единою он ночью
Дев пятидесяти юных
Супруг нежный и в срок точно
Пятьдесят сынов родивши.
Подвигов двенадцать дивных
Совершил, себя прославив;
Был ироем в жизни краткой,
Полубог он стал по смерти.

Но склонясь от баснословных
Подвигов иройских в Грецьи,
Зри, живот как презирает
Кодр в спасение Афинам.
Он не золото, не гремушку
Мздой поставил дел иройских,
Но мечту, мечту любезну,

Образ отчества драгого;
В нем жить рай, но с ним разлука
Есть геенна, ад ужасный.
Кодр, сей мыслию исполнен
И предвестию поверя,
Что потеря драгоценной
Вещи для Афин спасенье,
Счел, что драгоценней в мире
Вещи нет, как царь правдивый.
И, себя таким считая,
Смерть вкусил к спасенью царства.
Афиняне в знак почтенья
К подвигу толки славу
И считая невозможным
Заменить его на троне,
Имя царско истребили.
Признавая невозможность
Без законов быть правленью,
Афиняне восхотели,
Да Дракон, муж твердый, строгий,
Начертал бы им законы.
Но он каждо преступленье,
Маловажно иль велико,
Омывал афинян кровью.
Мало время поступали
По словам его кровавым;
И Солон законы новы
Предписал тогда Афинам.
Страсти бурны обуздавши,
Он законы дал бессильны
Аттике замысловатой.

Зря законов власть попорнану
Властолюбным Пизистратом,
Презрил град он и тирана,
Град оставил, удалился.
Но чему дивиться должно,
Иль законам его слабым,
Иль тому, что он направил
Народ шаткий, остроумный
На стезю побед и славы,
На рожденье мужей дивных?

Се исходит предо мною
И очам моим явился
Муж божественный, муж дивный,
Что, умом своим объявни
Всю народного связь тела,
Умел души всех устроить
К пользе общей и единой,
Подчиняя ум и сердце
Всех отечеству любезну.
О Ликург, твоим законом
Ты, нагнувши выи горды,
Воспитанием спартацев
Им отечество соделал
Всего выше и милее.

Времена настали страшны
Для свободы всей Эллады.
Как стада несметны вранов,
Так полки персидски строим
На Элладу налетели;
Но афиняне, спартане

Против их несчетных воев
Ставили мужей лишь славных.
Милтиад, спаситель Греции,
Победитель Марфонский,
Жизнь скончал в темнице срамной
Леонид, царь Спарты смелый,
Иссосав любовь к отчизне
С млеком матери любезной,
Жизнь ему принес на жертву,
И с ним триста юнош храбрых
Дни скончали в Фермопилах.
Аристид се правосудный,
Что себе начертавает
Суд изгнанья остракизмом;
Но он зависти знал жало,
Быв соперник Фемистокла.
Победитель славный персов,
В Саламине зрит всех греков,
Стекшихся к играм в Олимпе,
Перед ним вдруг восстающих.
О награда паче злата,
Паче всех венцов лавровых!
Но достоин был неложно
Сея чести тот, кто Грецию
Спас победой в Саламине:
Для спасения отчизны
Презрел он вождя надменна
И вознесшему жезл буйно,
Да ударит, отвечает:
«Поражай, но токмо слушай».
Се Перикл, кой умел хитро
Взять кормило во Афинах,

И народом, возлюбившим
Своевольность до безумья,
Он по воле своей правил,
Друг Фидия, изваявша
Образ дивный Афиней,
Друг Аспазии любезной,
Что Сократ (иль добродетель
Воплощенна) в честь вменяет
За учителя и мети
Себе славу Аспазию;
Он друг был Анаксагора,
Кой, сотряси предрассудок,
Тяжко бремя мглы священной,
И светильником рассудка
Сонмы всех богов развевя,
Первый стал среди вселенной,
Он дерзнул ее началу
Дать вину несуюверну.

Алкивиад, муж любезный,
Богат, статен, умен, знатен,
Дарований он великих
И пороков преисполнен.
Добродетелен, но редко,
Разве следуя советам
Друга своего любезна
И учителя Сократа;
В страстях пылок, рдян и буйствен;
Облекаясь он, однакож,
В виды, нравы, обычаи,
Кои нужны на то время,
Чтоб достичь желанной цели;

Он злой дух и бич Эллады
Был и пал сраженной жертвой
Любочестья и разврата.

Но пройдем мы быстрым оком
Ту страну, страну предивну,
Где Ликурговы законы
Царствуют сильней природы.
Там жена не знала страсти
Ко супругу нежну, разве
Он достоин был награды
За свою любовь ко Спарте.
Там мать в радости ликует,
Когда сын ее, сражаясь,
Жертвой пал при Фермопилах.
Ты познал то, о Павсаний,
Что любовь ко Спарте выше
В сердце родшей тебя в Спарте.
Нежели к тебе. Развратность
Твоих нравов она прежде
Всех других в тебе накажет.
Ты есть враг Лакедемона;
И се, зри, несет уж камень,
Чем во храм вход заградится,
Где предательна свершится
Твоя жизнь во мщенье Спарты.
Агесилай, воин мудрый,
Ты достоин еще древней
Славы отчества, погасшей
В роскоши, в развратных нравах.
О, сколь мил ты простотою,
Когда, чад своих забава,

Ты, конем жезл сотворивши,
Рыскал с ними на их пользу.

О Лизандер, о муж славный!
Воин мудрый, ты б достоин
Был отчества любезна,
Если б ты родился прежде.
Ты в делах твоих иройских
Не коварством был вождем,
Не предатель был бы хитрый,
Почитавший меч свой средством
Быть всегда со всеми правым.

Но разврат, пуска свой корень
Сердца вглубь лакедемонян,
Испроверг святы уставы,
Что Ликург поставить тшился
На подножии незыбком
Простоты и бескорыстья
Воспитанием суровым,
И когда рукою смелой
Юный Агий, взревновавший,
Восхотел к началу древню
Обратить спартански нравы,
То плачевною пал жертвой
Сребролюбия, разврата.

Дух величья, разливаясь
В концы дальние Эллады,
Возблистал вдруг между фивян;
Хоть Пиндар своей трубою

Во отечественном граде
Колебал тупые слухи,
Но взгнездившись во Фивах,
Грубость их по всей Элладе
Отличалась пред другими.
И се два велики мужа,
Лаврами главы венчая,
Возмогли на вышу степенъ
Возвести свою отчизну.
Пелопид, мудрец и воин,
Муж великий, избавитель
Фив от ига, наложена
Гордой Спартою во счастье.
Но его блестяща слава
Уступала его другу
Епаминонду, что первым
Цицерон назвал из греков,
Он про коего вещает:
Знал всех больше, а глагола
Меньше всех. Он, высший в Фивах
Нищ был, злато презирая.
Горду Спарту низлагая,
Победитель пал сраженный,
И, чад вместо, он оставил
Только Левктры, Мантинейю.
Се Филипп сплетает узы
Или сети хитротканны,
Где он вольность всей Эллады
Уловил и сделал прахом.
Учредитель стройна войска,
Устроением фаланги
Он кровавы приготовил

Узы тяжки полусвету.
О Филипп, тебе возможно
Во ярем нагнуть все выи;
Но кто может Демосфена
Наклонить велику душу?
Тебе тело и труп срамный
Демосфенов в корысть будет,
Но не дух его свободный.

Александр, употребляя
Себе в пользу то, что сделал
Филипп хитрый, Филипп мудрый,
Вихрь порывистый понесся,
В бурном духе урагана
Сокрушая все преграды,
От смиренной Пеллы даже
До брегов счастливых Гагга.
Друга своего убийца
Пал сражен болезнью в пьянстве.
Необъятные корысти
По его достались смерти
Вождем войск его надменным;
И солдаты Александра
Цари стали его смертью.

Хоть по смерти Александра
Воссиял дух древний паки,
И союз ахеян видел
Возрождающую вольность;
Но то искра была слаба.
Ни Арат не мог восставить
Падшую Эллады вольность,

Ни ты, смертный, столь достойный
Нарещись последним греком,
Филопмен пал, и вольность,
В древней Греции сиявша,
Век потухла невозвратно.

Се сонм светлый мужей славных,
Се сенат, се народ римский,
Полк царей и их прывыше,
Се властители народов.
Изыдите и предстаньте
Моим взорам обаянным!
Вы краса и удивленья
Человеческого рода,
Вы изящну добродетель
Вознесли на верх возможный;
Но вдруг впади в гнусность, мерзость,
И затмили злобой, зверством
Все народы нам известны.

Ромул Риму основанье
Дал, устроив свое царство.
Нума нимфу Эгерю
Призывал давать законы
И единый против войска
Стал врагов своих строптивых.
До Тарквиния старались
Все цари пределы Рима
Расширять елико можно.
Но Тарквиний скиптр железный
Простер к буйному народу;
Смерть Лукреции воздвигла

На него беды ужасны;
Он был изгнан, и навеки.

Се Брут первый, обогранный
Кровью сына и тиранов,
Положил угольный камень
Зданью римския свободы.
Се Коклес, с мечом единый
Спасший Рим и его славу;
Жертва Деций общей пользы,
Ищет смерти он ужасной.
Суеверною любовью
Ко отечеству пылая,
Курций в хлябь земну разверсту
Летит, жизни не жалея,
Для спасения народа.
Зри, се Сцевола, на жертву
Принося свою десницу,
В безопасность юна Рима,
Не содрогшись, возлагает
На горящи ея угли.
Боль несносна не тревожит
Души твердой и незыбкой.

О Менений бескорыстный!
Пред тобой богатство, злато,
Как лист в осень, увядают,
Постыженны твоим взором.
Нищ ты был, седяи в сенате,
И по смерти не оставил,
Чем бы заступ мог наемный
Ископать тебе могилу.

Но граждане веледушны,
Чувствием сердец водимы,
Несут в место свое золото,
В честь твою взник столп надгробный!

Броду тяжку прорывая
Силою волов яремных,
Цинцинат от шума света
В селе малом обитает.
Но блестяща добродетель
Утаиться не возможет;
Возведен на высшу степень
Он в дни смутные средь Рима,
Своей твердостью и лаской
Рушшийся порядок строит;
Уже взводится в четверты
На первейшее он место;
Врагов Рима победивши,
Он нисходит в чин простого
Гражданина; и приемлет
Паки он свое орудье,
Чем взорется его нива.
Столь же ты велик, муж дивный,
Идя вслед сохе на ниве
И бичом скота яремна
Понуждая ко работе,
Велик столь же, как пред войском
В прах попрах ты врагов Рима.

О Камиллий, о муж славный,
Столь же дивен и единствен
Ты во счастьях благоспешном,

Как в превратностях и в бедстве.
Изгнанный коварством хитрым
(Ах! бывало ль или будет,
Чтоб изящна добродетель
Не рождала зависть бледну
И была б не ненавистна
Злобну гнусному пороку),
Ты, к отечеству любовью
Рдея, строишь во изгнании
Помощь Риму во злосчастии.

И се Бренн, вождь храбрый, смелый
Галлов диких и свирепых,
Победитель римских воев,
Всюду ужас простирает,
Он в бестрепетное сердце
Римлян страха поселяет;
Но Рим в бедствах паче счастья
Был велик, и тверд, и дивен.
Его стены опустели;
Жены, старцы и младенцы
Лишь одни остались в граде
Зреть победу галлов лютых.
Но Камилл жив, и спасенны.
Лишь отсутствен он от Рима,
Паки бедства возродились,
И, наскучивши в осаде,
Римляне купить хотели
Мир у галлов весом золота.
Но Камилл внезапно входит
В град, поникий от печали;
Зрит поносное он золото

На весах, и коромысло
(Вес неполн) горé восходит.
Меч изваек и в легку чашу
Возложивши: «Се, — вещает, —
Чем нам галлам платить должно,
А не золотом сим поносным».
Одно слово, и дух прежний
Возродился в сердце римлян;
Рим свободен, победенны
Галлы; зри, что может слово;
Но се слово мужа тверда,
Как то древле слово жизни
Во творении явилось,
Было слово се Камилла.

Мужи славны, украшенье
Вы отчества во Риме;
Вы, к нему любовью рдея,
Всё на жертву приносили,
Самую забыв природу.
Манлий сына осуждает
Вкусить смерть, да подчиненность
В войске будет сохраненна;
Деций, видя робость в войске,
Дав себя в обет подземным
Богам, ринулся с размаху
Во врагов; погиб, но славно,
Бодрость в души влиял римлян
И доставил им победу.
Се твой сын, тебя достойный,
Уподобясь тебе в славе,
То ж творит и погибает.

Се и вы предстали взорам,
О презрители богатства.
О ты, Курий! что вещавший
Ко самнитам, приносящим
Злато: «Лучше я желаю
Поведителя быть над теми,
Кто имеет много злата,
Нежели иметь сам злато».
Ах! возможно ль его блеском
Льстить того, кого, пришедши
На прошение, посланцы
Целого народа видят
На деревянном блюде яствы
Поядающа. — Явился
Муж, презритель сребра, злата,
Добродетельный Фабриций;
Удивленья врагов Рима,
Ты достойный был воссесть
И в том граде и в том сонме,
Где Киней дивяся мудрый:
«Рим, — вещает, — есть храм божий,
А сенат — царей собранье».
Пирр со златом посрамленный,
Не возмогши добродетель
Повредить твою, рек тако:
«Нет, удобнее возможно
Совратить с теченья солнце,
Нежели со стези правды,
Добродетели и чести
Совратить тебя, Фабриций».

Кто сей зрится весь покрытый
Ранами, муж строга вида? ..
Регул, зная пытки, муки,
Что его ждут во Карфаге:
«Вам война, не мир довлест,
О сенат, о народ римский», —
И кровавая пал жертва
Оя совета сего мудра.

Но возник тебе на гибель
Ганнибал, сей муж предивный,
Коим Рим едва не свержен
Во полете своей славы,
Если б зависть не претила
Во парении ирою.
Фабий медленностью мудрой
Если б бег твой не умерил,
То поверженный во прахе
Во развалинах дымился б
Рим, глава земного круга;
Там бы зрелися потомки
Тех мужей, достойных неба,
В поругании злосрамном;
На том месте, где венчались
Славою их предки дивны,
Не воссели б в славе, в блеске
На престоле всего мира.

Ганнибал, ирой премудрый,
Что тебе противустанет?
Коль природа не возможет
Во походе твоём дивном

Положить тебе преграды,
Воздвигая верхи льдяны
Выше облак, грома, молний;
Коль струя шумящей Роны,
Еридан или потоки,
Звонкошумно ниц звенящи
С верхних Альп на камни строги,
Заградить твой путь не могут,
То Требия, Тразимена
Суть лишь следствия неложны
Твоих мудрых начертаний.
Но се Фабий, скала тверда,
Где твое стремленье буйно
Заградилось и пренято.
Ах! тобою Рим спасенный
Чуть не зрел свою погибель
В Каннах, как Варрон надменный,
Сей клевет безумный Павла,
Падшего в спасенье Рима
С воинами, что умели
Жизнь скончати за отчизну;
Безрассудный вождь, возмнивший
Состязаться с Ганнибалом.
Уж молва трубою громкой
Возвещает гибель Рима;
Но напасть его спасенье
Устраивает средь развалин,
Он воздвиг свой верх ужасный,
Бедства край, всех восторгало
Мужество вновь возродилось;
Рим спасен, и что возможет
Ганнибал один пред Римом?

Его счастье отлетело
Перед юным Сципионом.
Победитель Ганнибала
Видел зависть, видел злобу,
Устремленную на славу
Его подвигов великих;
Обвинен перед народом,
Добродетельный муж, твердый
Над врагами Рима скажет
Свои славные победы
И клевет всех в посрамленье:
«Народ римский! (он воскликнет)
В сей, в сей день блаженный с вами
Победил я Ганнибала;
Отдадим хвалу всевышним».
И се паки торжествуя,
Всем народом провождаем,
В Капитолию он восходит,
Оставляя площадь римску
С клеветой, в стыде шпичей.
Славы, имени преемник
Сципионов, разрушитель
Состязательницы Рима...
Ах! се ль слава, се ль иройство? —
Разрушать единым мигом,
Что столетия создали!
Вопль и крик и скрежетанье
Умирающих булатом
Победителя во гнеше. —
Пламя, всюду разлианно,
Как река, сломив оплоты — — —
Плод изящности — в обломках —

Разума творенья — в щепках — — —
И грабеж, насильство, наглость,
Все неистовства, все зверства, — — —
Со бесчувственностью стали
Слышать визг и корчи смерти —
Се иройство, слава! — можно ль
Сердцу, чувствовать обыкшу,
И уму, судить умевшу,
Поступить на таковая?
Нет, рассудок претит мьсантъ,
Что Эмилия сын славный,
Лелья друг и друг Полибия
И любитель муз Эллады,
Мог решить погибель звереку
Пышной, гордя Карфаги.
Нет, веленье се неисто
Властолюбия сурова,
Ненасытна духа власти,
Духа сильна, Рим воздвигна,
Из устен что излетело
Древня строгого Катона:
Да разрушится Карфага!
Но ты паки разрушитель,
Ты Нуманцини несчастной,
Иль припев, или прозвание
Над тобой толико слышны,
Что ты сладость ощущаешь
Разрушителем быть только?
Но алкая сильной власти,
Ты диктатора стал жертвой
Властолюбья непомерна. —

И се в Риме, удивленном
Своей властью и богатством,
Возникают страсти бурны
И грозят уже паденьем.
Ассия, Коринф и греки
Повергают свои выи
Во ярем народа римска.
Но во мзду рабства сим мира
Повелителям надменным
С золотом, с серебром, с богатством
Изрыгают в Рим все страсти,
Что затмят в нем добродетель
И созиждут ему гибель.
Грахи, Грахи, украшенье
Матери своея мудрой,
Вы напрасно восхотели
Возродить в превратном Риме
Нравы древни и равенство.
Добродетель не защита
Для коварства, буйства, силы.
Пали жертвы вы, достойны
Упадающей свободы.
Се возник тот муж суровый,
Ненавистник, рода знатна,
Ненавистник наук, знаний,
Храбр, и мужествен, и дерзок,
Вождь великий, воин смелый
И спаситель Рима, Марий;
Горд, суров, алкая власти,
Все пути к ее снисканью
Были благи; но изгнанный
И в побеге, утопая

Близ Минтурны в блате жидком,
Он вещает ко несущу
К нему смерть наемну войну:
«Се, я Марий, коль дерзасшь!»
Но сей взор велика духа,
И велика среди бедствий,
Заградил взнесенно жало,
И в убийце своем Марий
Обретает себе друга;
«Странник бедствен, укрываясь,
Конец жизни нося тяжкой,
Зри картину счастья шатка;
Зри величественный образ
Мария победоносна,
Марья первого во Риме,
Здесь сидящего (вещает)
На развалинах Карфаги!
О стяжатель власти, чести,
Зри там Марья — содрогнися».
Колесо всегда вертящесь
Превратилось Фортуны,
Марий паки в Капитольи;
Сердце, бедством изъязвлено,
Стало жестче стали крепкой,
И суровый сей велитель
Рим исполнил смерти, казни.
День румяный воссиявший
Освещал потоки дымны
Восструившейся по стогам
Крови римской — и свершался,
Зря в мерцаньи кровь и гибель.
Но сей варвар ненасытный

Трепетал, воспомня Суллу.
Чтоб забыть тот страх, опасность,
Он предался гнусну пьянству
И в хмелю скончал жизнь срамну.

Се совместник Марьев, Сулла,
Се мучитель с сердцем нежным,
Се счастливым нареченный,
Рода знатна и украшен
Дарованьями различны;
Ум словесностью устроен,
В обхожденьи мил и гибок,
Но снедаем алчбой славы
И снедаем властолюбьем;
Храбр, деятелен, вождь мудрый,
Победитель Мифридата.
Мифридат, ирой, царь славный,
О, пример ты зыбка счастья!
Враг он римлян, ненавистник
Сих тягчателей народов;
С юных лет он чувствует славу
Противстать струе сей, рвущей
Все оплоты; бодрый разум,
Возвышенны чувства сердца,
Крепость духа, храбрость, смелость,
Мужество, в трудах возросше,
Закаленное во славе;
Он дал бег душе отважной,
Властолюбия алкавшей,
На великая возмогшей.
Победитель он Ассиа,
Победитель он Эллады,

Уступить был принужденный
Счастью Рима, счастью Суллы.
Но иссунул меч кровавый
Паки на погибель Рима,
Тридцать лет сопротивлялся
Он грабителям вселенной,
Римлянам; но в тяжкия лета
Зря восставшего Фарнаса,
Сына, наущенна Римом,
Он мечом свою жизнь славну
Ненадежную исторгнул,
Не возмогши ее кончить
Жалом острым яда смертна;
Зане жизнь его, в смятеньи
Провождаема, успела
Притупить всю едкость яда.

Мифридата победивши,
Испровергнувши Афины,
Победивши всех ахеян,
Всех союзников и римлян,
Сулла меч свой, обгаренный
Кровию доселе чуждой,
Он простер во сердце Рима.
Заградив на жалость сердце,
Хладнокровный был убийца
Всех, ему врагами бывших,
И трепещущие члены
Погубленных граждан Рима
Его были услажденье.
Нет, ничто не уравниется
Ему в лютости томажкой,

Робеспьер дней наших разве.
Ах, во дни сии ужасны,
Где отец сыновней крови,
Где сыны отцовою жаждут,
Господу где раб предатель,
Средь разврата нагла нравов
Может разве самодержец,
Властию венчан всесильной,
Дать устройство, мир — неволи —
Пусть неволи, но отдохнет
Человечество от тяжких
Ран. Стал Сулла всевелитель,
Учредил благоустройство
Во мятежном сердце Рима.
И се муж, кровей столь жаждущий.
Погубитель граждан, войнов,
Грады, селы испровергший,
Наносивший смертны раны
Во сердцах семейств толиких,
Возгнушался своей властью
И дерзнул сойти с престола.
Он конец своея жизни
Провел мирно и в утехах
Сладострастья, неги, хмеля.
О властители народов! . .
Или, паче, сердца смертных,
О загадка, нерешима
Ниже Сфинксу! будто только
Всевластителю угодно
Было кровию упиться
И возлечь на ложе мирно,
Среди Вакха, мусс и Лелы.

Истина непостижима,
Но то истина, что может
Во душе, к любленью нежной,
При вождении рассудка
Привитать и люто зверство.

Где ты, Рим, где ты, отчизна
Простоты, смиренья, чести!
Добродетели опоры,
Потрясенные страстями,
Утопилися в ассиийской
Роскоши; но се явление
Удивления достойно
Всех веков, всея вселенной;
Муж богатства неисчетна,
Пышностию превзошедший,
Роскошью и велеленьем
Всех царей роскошна Ветока,
И среди распутства, буйства,
Наглостей, презренья явна
Добродетели, законов
Возмужался, явил свету
Сердце чистое и разум,
Всей изящностью украшен.
Воин храбрый и вождь мудрый,
Гражданин среди разврата;
Ненавистник ухищрений,
Скопов, казней, заговоров;
Не алкая властолюбьем,
Победитель Мифридата
Торжеством шел в Капитольи.
Сердце, руки непорочны,

Судия всегда правдивый,
Истина из уст нельстивых
Лукулла роскошна, пышна
Исходила непорочна,
Сын, отец и брат он нежный,
Господь щедрый, друг несчастных,
Он бы мог стать всех превыше,
Кесаря или Помпея,
Но иль мало он отважен,
Иль не дерзок, иль почтил он
Мир, покой средь мусс и неги.

Марий, проложив кровавый
Путь ко власти вышей в Риме,
Сулла, воинов купивши,
Показали, что возможно
Силой царствовать в Риме;
Рим, владыко всех народов,
Уж настала та минута,
Что ты выю свою горду
Под ярем насильства склонишь.
Если муж продерзкий, буйный,
Вихрь неистовый страстями,
Смелый ум, отважно сердце,
Сластолюбец, злодей гнусный...
(Зри, ступил, ушел и, в бегстве
Вывавшись, мечом дерзает...
Но сражен он, озираясь,
Грозит взором и скрежещет
Во отмищение зубами) —
Если вольность Катилина
Не возможен испровергнуть,

То, спасенный Цицероном,
В мрежи ты падешь Помпея.
Властолюбец, не терпевший
Себе равного во Риме,
Жажду царствия прикрывши
Добродетельной личиной,
Он умеренности видом
Привлекал сердца и души;
Торжества исторгии почесть,
Еще юн, не хотел больше,
Чтоб его затмил кто в Риме;
Победитель и во власти
В Рим вступает гражданном,
Но он хитростью то будет,
Чего силой не желает,
Его честь и добродетель
На лице токмо сияли,
Но душа была бесстыдна.
Расширитель он пределов
Рима Асси до сердца,
Он неистово гордился,
Презрил Юлия, вещая:
«Я воздвигну легионы,
Ударяя ногой в землю».
Во Фарсальских он долинах
Испытал превратность счастья,
И предательной десницы
Стал он жертвою плачевной.
Тако зданье, соруженно
Хитростью и расточеньем,
Властною, умом, стрясется
И падет единым махом,

Коль найдет во преткновенье
Буйнее себя и дерзче.

Се возник тот муж предивный,
Удивленье веков поздних,
В юности распутен, жаждущ
Лишь веселья и утех,
Дорогими ароматы
Нося кудри умащенны
И рача лишь о наряде,
Сей вознесся, да преломит
Твердый щит свободы Рима,
Но в котором еще Сулла
Марьев многих прорицает.
Юлий встал, и все поникло.
Ах! что может стать противу,
Когда Юлий в селе малом
Первым быть желает лучше,
Нежели вторым во Риме.
Алчба власти необъятна,
Совождается рассудком
Твердым, быстрым, и глубокий
Ум блестящий и украшен
Всею учености цветами.
Слово нежно и приятно,
Но и сильно, пылко, стройно.
Убеждать равно удобно
Душу, сердце жены, война.
Предприимчив, смел, отважен,
Жив, деятелен; чудесны
Он намеренья родивши
Исполнял их устремленно;

Храбр и мужествен в сраженьи,
Мудр, разумен он в советах,
Милосерд, прощать обиды
Он готов всегда злодеям.
Как возможно, чтобы вольность
Устоять могла, шатнувшись,
Против Юлья? муж чудесный,
Он все качества изящны
Ссредоточил, недостатка
Ни едина не имевши,
Но пороков тьму; рожденный
К управленью, где бы ни был,
Победитель был бы тамо,
Где б случилось вождасть войско.
Вольности умыслив гибель,
В достиженьи сся цели
Бдетелен был, трезв, незыблен,
Всегда к брани он готовый,
Рукой держкой и обильной
Рассыпал несчетно злато.
Покупал наемны души
И клеветов своих бранных
Делал Крезами, коль нужно.
Путь направля ко престолу,
Преткновений став превыше,
Он себе позволял все, и,
Свято было ль что, не ведал.

Так, Помпея победивши,
Излиял щедроты всюду
И явился царь премудрый
Но или неосторожно,

Или гордостью своею
Оскорбив любящих вольность,
Сей вождь славный, муж великий
Пал, сражен друзей рукою,
Пал, ненужная ты жертва
Сокрушенная свободы.
И неслыханное чудо!
Тиран мертв, но где свобода?
Во служение поникший
Рима дух парить не может,
А ты, муж красноречивый,
Цицерон, прияв кормило,
Не возмог ты Римом править.
Ах, Катон, почто исторгнул
Жизнь свою ты столь некстати?
Ты бы участь зыбку Рима
Укрепить мог духом твердым.
Стань, сравнись со Цицероном;
Монтеские о вас да судит.
Цицерон муж качеств дивных,
Но вторым быть, а не первым
Был удобен; ум прекрасный,
Но душа нередко низка.
В Цицероне добродетель
Есть побочность, а в Катоне
Она верх, подпора ж славы.
На себя всегда взор первый
Витий славный обращает;
А Катон себя не видит;
Рим спасти Катон желает,
Зане любит он свободу;
А муж слова сладка хочет

Рим спасти из чванства разве;
И сей муж неосторожный
И тщеславный, ненавидя
Марк Антония, восставил
Юлия в Октавиане.
Но, обманутый младенцем
Почти, пал опасна жертва
Кровожадных триумвиров.
Тут воскрес, восстал от гроба
Ненасытец граждан крови,
Сулла; меч носился в Риме,
Пожиная всех, кто немна
Иль опасен триумвирам.
Так, валясь везде на части,
Римска вольность исчезала.
Брут и Кассий, побежденные
В Греции, свой меч вонзают
В грудь свою без пользы Риму;
Только слава им осталась
Римляне последни зваться.
Потом, Марка победивши,
Октавия в Акцьи, трусливый,
Царь он стал огромна Рима.
И так сей злодей неустый,
Без законов и без права,
Хитр, бесстыден, подл и алчен,
Благодарности чужд сердцем,
Сластолюбец и бездельник,
Кровожаждущ, но с насмешкой,
Воевода трус и робкий,
Но возлюбленный воинством,
Рим исполнивши насильства,

Грабежа, бесстыдства, крови,
И, насытившись надменно
Сладострастием позорным,
Стал превыше он всех в Риме.
Он, в любовь к народу вкравшись,
Льстя его свободы видом
(Ах, достоин ли свободы
Ты, который лишь желаешь
Хлеба, хлеба, игр на цирке?),
Основал престол железный,
Где воссядет злодеянье
И с ним гнусные пороки.
Тако хитрый сей мучитель,
Безмятежным прави царством
Долго, был и щедро и кроток
И, кончину видя близку,
С твердостью вещал стоящим:
«Се конец игры, плещите»,
Но потомство не обманешь, —
О неистовый счастливец;
Блеском своея державы
Одолжен ты Меценату,
Иль Ливии, иль Агриппе,
Иль льстецам твоим насмешным,
Иль Горацью, иль Марону.
О умы, умы изящны,
Так ли участь мусс, чтоб славить.
Кто вам жизнь лишь не отъемлет
Иль, оставя вам жизнь гнусну,
Даст еще кусок, омытый
В крови теплой граждан, братьев.

Как струя, в своем стремлении
Препинаема оплотом,
Роет тихо в основаньи
Связь подножья его крепка,
Но подрыв и отняв силу
У претящих плотины,
Ломит махом все преграды
И, разлившись с буйным ливнем
По дугам, долинам, нивам,
Жатвы где блюлись и злаки,
Всё покрыла волной мутной:
Так при Августе власть высша
Подрывала столб свободы,
Что Тиверий сринул махом.

Тиран мрачный, он подернул
Покрывалом тяжким скорби
Рим; тогда не злодеянье
В злодеяние вменялось;
Но злодей — кого Тиверий
Ненавидел или думал,
Что опасен он быть может.
Действие, невинна шутка,
Одно слово, знак иль мысли —
Всё могло быть преступасньем,
Там донос, ночное жало,
В бритву ядом изощренно,
Носят нагло днем во Риме.
Сын отцу и отец сыну,
Брату брат, супруг супруге,
Господину раб, друг другу
Чужды стали и опасны.

Оком рыси соглядая,
Лютость рыскала по стогнам
И с улыбною змеиной
То чело знаменовала,
Что падет при восходе солнца
Иль увянет при закате.
Ах, исчезли те сердечны
Излиянья меж друзьями,
Что всю сладость составляли
Бесед тихих, но свободных;
Со пиршеств непринужденно
Отлетело уж веселье,
Скрыв чело блестяще, ало
Под покров густой печали;
И доверенность в семействах
И в рабах хоть редка верность
Искаженны превратились
В недоверчивость, подобну
Стражу люту, что отъемлет
У несчастных улажденье
В бедстве томном — сон и слово.
Дружба там почлась не лучше
Скалы скрытой и подводной,
Где корабль при дуновеньи
Тихого зефира будет
В корысть Сцилле иль Харибде.
Откровенность и вид правды
Поставлялися безумьем.
И сама, ах! добродетель
Почиталася личиной,
Но опасной для тирана,
Зане вид ее любезный

Мог исторгнуть бы из груди
Воздыханье о блаженстве
Времен прежних, и родилась
Мысль, что Рим мог быть иначе.

Так вещает муж бессмертный
Монтескье, что нет тиранства
Элей, лютей, когда хождает
Под благой сенью законов
И прикрытое шарами
Правосудия; подобно,
Как бы жалость всю презревши,
Отымать спасавшу доску
Претерпевших сокрушенья
Корабля, да гибнут в бездне.

Се лишь слабая картина
Царствия Тиверья мрачна.
Сей тиран согбенна Рима,
Возгнушавшись его лестью
Иль боясь, чтоб не воздыгло
В нем отчаянье десницу
На каранье правдиво
Всех его мучительств темных,
Отдалися во Капрею,
Где, когортами страгомый,
Сластям гнусным предавался,
Коиx образ даже срамный
Иль одно напоминанье
Омерзенье возбуждают.
Тамо отроков во сонме
Наслаждался он утехой,

Новы сласти вымышляя
И названия им новы;
Там, откуда его смрадно
Слуги, рыская повсюду,
Новых жертв всегда искали
Его мерзку любострастью;
Отрок нежный, возвращенный
В целомудрии, в смиренности,
Исторгался из объятий
Отца, матери или брата.
Ах, почто, почто и память
Сих всех гнусностей позорных
Едко время пощадило!
Время, в царствии драгое,
Истошая в сих утехах,
Исполненье своей власти
Злой тиран отдал Сеяну.
Сей, орудье его зверства,
Шел во власти и в тиранстве
Наравне с капризским богом.
Погубив его семейство,
Он уж смелую десницу
На трепещуща тирана
К поражению возносит;
Но сам пал, и тиран лютый
Злей, лютее стал, дотоле,
Что несчастный, избегая
Не кончины неизбежной,
Но терзаний, муки, пытки,
Жизнь заранее преторгши,
Извлекал из уст тирана
Слово зверское: «он спася».

Сам Тиверий смертью лютой
Жизнь скончал свою поносну.

Ах, сия ли участь смертных,
Что и казнь тирана люта
Не спасает их от бедствий;
Коль мучительство пагнуло
Во ярем высоко вино,
То что нужды, кто им правит;
Вождь падет, лицо сменится.
Но ярем, ярем пребудет.
И, как будто бы в насмешку
Роду смертных, тиран новый
Будет благ и будет кроток;
Но надолго ль — на мгновение;
А потом он, усугубя
Ярость лютости и злобы,
Он изрыгнет ад всем в души.
Кай Калигула таков был,
Милосерд, но лишь вначале;
Он был щедр — — — разве
в тиранстве.

Юнош тихий и покорный
Был, доколе высшей власти
Не имел в своей деснице;
Потом тигр всех паче лютый.
И достойно назывался
Рабом лучшим во всем Риме,
Господином злей всех паче.
Он, лаская толпе черной,
На безумные издержки
Истошил несчетно злато.

И се светлое начало
Пременилось скоро, скоро.
Сверженно все и поприано
С наглостью; досель незинный,
Нравы, разум и законы,
Человечество и честность
Подавив пятою тяжкой.
Кай омылся в кровях Рима;
Он, мучитель до безумства,
Сожалел о том лишь только,
Что народ, народ весь римский
Не одну главу имеет,
Да, сраженна одним махом,
Ниспадет ему в утеху.
Пьян, величием надменен,
Он царей всех чтит рабами,
Храм создал себе, как богу,
И велел обильны жертвы
Приносить себе, как Зевсу.
Блестел молнией, метал громы.
Удивиться тому должно,
Как мог Рим повиноваться
Дурака сего неиста
Бешенству толико яру;
Любодейца со сестрами,
Нагл, насилен и бесстыдно
Осрамлял супружне ложе.
Лишь стыдился, что Агриппа
Его дед был, и вещает:
«Мать мою родивша Юлья
Зачала в объятых отчих
Бога Августа». — Безумный! —

Нет, лишь смех ты возбуждаешь.
Но чему дивимся боле:
Иль надменности безумной,
Или зверству его яру?
Глад, иль мор, или пожары,
Или бедствия народны
Ему были услажденьем.
Но дотоль он презрил римлян
Или был безумен столько,
Что коня в своих чертогах
Угощал как мужа славна.
Он нарек его первейшим
Во священниках и мыслил
Нареши его в сенате
Консулом. — Но полно, полно,
Замолчим... Он жизнь столь гнусну
Острием скончал Херя.

Ах, пребудет удивленьем
Во все веки, во все роды...
Как Рим гордый, возмужавший,
Жив столетия во бранях
Непрестанных, источая
Кровь граждан и кровь противных,
Истребляя иль присвоя
Царствия, народы, веси,
Явив свету мужей дивных
В добродетелях, в ироистве,
Совершивши дел толико
И великих и блестящих,
Быв толико мудр в правленьи,
Мудр во бранях и в победах

Мужествен, тверд, постояен,
Во опасностях незыблем,
И, поставив от начала
Присвоение вселенной
И намеренье блестяще
Столь умыслив остроумно,
Столь исполнив постоянно
И окончив столь счастливо...
Но на что ж?.. дабы злодеев,
Извергов, чудовищ пять-шесть
Наслаждалися всем буйно...
Иль се жребий есть всеобщий,
Чтоб возвышенная сила,
Власть, могущество, блеск славы
Упали, были гнусны?
И рачащие о власти
Для того ее лишь множат,
Чтоб тому она досталась,
Кто счастливее их будет?
Во всех повестях народов
Зрим премены непонятны.
Сенат римский, гордый, смелый,
Сонм князей, владык державных
Пресмыкается и гнусен...
О властители вселенной,
О цари, цари правдивы!
Власть вам данная от неба,
Есть отрада миллионов,
Коль вы правите народом,
Как отцы своим семейством.
Но Калигулы, Нероны,
Люты варвары и гнусны,

Суть бичи небес во гневѣ,
И их память пренесется
В дальни веки для проклятий
И для ужаса народам!
Кай сражен, сражен Хереем,
Что возмнил восставить паки
Истукан свободы в Риме.
И се, кроясь во страхе
В углу дальном царска дома,
Клавдий обретен трепещущ.
«Буди царь!» — вещают войны.
О Рим, Рим! кто царь твой ныне?
Старец дряхлый, но младенец
Он умом: ум слабый, глухой;
Человек едва ль, зародыш,
По названью его родшей.
Мягкосерд, но что в том пользы?
Раб жены поносной, срамной,
Стряшей стыд, раб Мессалины,
Коей имя ввек позорно
Нарицанием осталось
Жен презрительных, бесстудных.
Он, игралищем став гнусным
Отпущенников, злодеев,
Иль Нарцисса, иль Палладея,
Омывался в крови римлян.
В Риме тот был жив, здрав, знатен,
Кто их друг был иль наемник.

Кто с глупейшим из тиранов,
С Клавдием сравниться может?
Недовольная унившись

Мессалина сласти гнусной,
Пред очами она Клавдия
Во супружество вступает
Со возлюбленным ей Сильем.
Но что пользы в том, что смерти
Предаст Нарцисс Мессалину?
Клавдий слышал и трепещет:
«Я ль еще владыка Рима?»
Се вопрос тирана слаба.
Се жена распутна паки
Воцарилась Агриппина;
Но боясь конца насильна,
Ко Локусте прибегает, —
И отрава отомщает
Падший Рим кончиной Клавдия.
Ах, погибли пораженны
Все останки умов твердых.
Зри, жена иройска духа
Осужденному к злой смерти
Милому рекла супругу,
Да рукою своей твердой
Предварит он казнь поносну.
Но Пет медлит и робеет.
И се Ария сталь остру
В грудь свою вонзает смело:
«Прими, мой Пет любезный,
Нет, не больно...» Пет, мужаясь,
Грудь пронзил и пал с супругой.

Но се тот уж воцарился,
Коего счастливу юность
Управляя Сенека, Буррий;

Но который, сняв личину,
Каждый день своей жизни
Или каждый шаг свой зверский
Начертал убивством лютым;
Тот, чье имя ввек осталось
Всех поноснее и гнусней
В нарицание тиранам,
Имя Нерон, зверь венчанный.
Во неистовых утехах
Провождая дни и ночи,
Он в позорищах являлся
Иль возницей, или гистрий,
В посмеянье был народу,
Но палач он, всем грозящий.
Он убийственную руку
Простирал на всех ближайших;
Мать, наставники, супруга —
Все сраженно упало
Под мечом сего тирана,
Столь мертвить людей умевша;
Насыщался ежедневно
Или сластию прегнусной,
Или кровью умовенный,
Его Рим зрел посягавша
Во жены Пифагораса,
И среди затей безумных,
В кровях плавая гражданских
И в хмелю утех неистых,
Он возмнил себе представить
Пожар, гибель древней Трои
И для сей утехи злобной
Велел Рим возжечь отсюда...

Се довольно, мы скончаем
Сию повесть, где лишь видно
Иль неистовство, иль зверство.
Убоясь попасть в руки
Своей страже вероломной
Иль сената, погибает
Смертью, красной для тирана:
Он мечом сам грудь пронзает
И погиб, последня отрасль
Дому Юлия велика.
Гальба, Отон и Вигеллий,
Появившись на престоле,
Смертию своей поносной
Уступили Веспасьяну,
Избранному в цари войском.
Трон, омытый своей кровью.

Некогда ласкатель гнусный
Он Нарцисса и Нерона,
Веспасьян явил на троне
Добродетель; и Рим гибший
Отдохнул — хоть ненадолго.
Далек пышности и спеси
И трудясь во управленьи,
Воздвигал погибше царство,
Где чредою скиптр держали
Злы тираны, равно гнусны,
Равно злобны, или глупы,
Или бешены, иль паче
Расточительны безумно.
Услажденье рода смертных,
Тит, почто прешел ты скоро?

Или для того, чтоб знали,
Что считал ты свое царство
Изынанным только благом,
Нарицая днем погибшим,
Когда счастья не мог сделать
Никому? Но век твой крисен
Жизнью Плавния старейша...
Заключенный в недрах утлых
Огонь в Везувии, яряся,
Всклокотал и хлябь разинул,
Разорвав ее холм высший.
Огонь, камня, дым и пепел —
Всё летит превыше облак,
Затмевая день и солнце.
Там рекой струится лава,
И все гибнет, вся окрестность
Погребенною сокрыта
В пепле жарком и ниспадшем.
Геркуланум и Помпея
Низошли совсем в могилу;
Бедство, смерть, опустошенье
Распростерлися далеко.
Тут, вождаемый алчною
Сведения и науки,
Погибает старший Плавний.
Но ты царствуешь, о сладость
Римского народа! — Тит, зри,
Как течет ко всем на помощь:
Если жизнь кто спас лишь в бедстве,
Тот блаженствует уж Титом.
Но скончав свою жизнь кратку,
Тит престол оставил Рима.

Иль чудовищу, иль брату.
Домитиан, тиран сей новый.
Он тиранов всех предшедших
Злее был, и не смягчался
Николи в своей он злобе,
Зане робок был, застенчив.
И столь гнусно было время, —
Тацит тако возвещает, —
Ниже молвить, ниже слышать;
Рим стал нем, пропало слово;
И погибла б даже память,
Если б можно было смертным
Терять память во молчаньи.
Но мучитель робкий слова,
Всех в стenanье приводивший,
Пал супруги наущеньем.
Но и дни сии столь гнусны
Красились, имея мужа,
Жить родившегося достойным
В лучших днях Афин и Спарты.
Се Агрикола; с тобою,
Домитиан, жил на то лишь,
Чтоб ты паче посрамленный
Пред потомками явился;
Зане истинно и верно,
Если сонмы людей славных
Могут красить дни счастливы
Царя мудра или щедра,
То один лишь муж великий,
В дни родившийся тирана,
Его паче лишь унижит
Ярым блеском своей славы.

Тогда паки воссияло
Солнце теплое для Рима;
По чреде там зрели мудрость,
Славу, мужество во власти
И венчанну добродетель.

Нерва, избранный на царство,
Был правитель мудр, но слабый
И согбен лет тяготою;
Но он дал себе опору
И устроил счастье Рима.
В сыны взяв себе Траяна.
Его смерть была бы в Риме
Бедствие, когда б не знали,
Что Траян его преемник.

Ожил Рим с царем толким;
Судия и воин мудрый,
Он имел, что было нужно
Быть царем. Алкая славы,
Он свой меч победоносный
В Дакию простер; воздвигнул
На Дунае мост тот славный,
Удивлявший столько древних;
И оружия славою, блеском
Ослеплен, понесся в дальню
Покорение народов.
Но хотя излишня слава
Победительные лавры
Затмевает, хотя жертвы
Сладострастия неиста
И возлития обильны

Хмельну Вакху прикрывают
Черной тенно картину
Подвигов, равно блестящих,
Царя в брани или в мире:
Вопреки здоречья колка
Навсегда Траян пребудет
Пример светлый всем владыкам.
И тому дивися больше,
Что он, разума не красив
Благолепными цветами
Иль познаний, иль науки,
Мог царем он быть столь мудрым.
В том как можно усумниться,
Когда дни его златые
Зрели Тацита и Плинья,
Ювенала и Плутарха.
Когда Тацит, сей достойный
Муж дней Рима непорочных,
Со восторгом мог воскликнуть:
«Век счастливый наш, где можно
Мыслить то, что мыслить хочешь,
И вещать, что ты помыслишь». —
Ах, сколь трудно, восседа
Выше всех и не имея
Никаких препон в желаньях,
Усидеть на пышном троне
Без похмелья и без чаду.
И тот царь почтен достойно,
Ускользнуть когда возможен
Обуяния неиста
Страстей буйных души смертных.

Адриан, на трон вступивший,
Строил счастье в римском царстве,
И хотя сравниться может
В добродетелях Траяну,
Но надменность и жестокость
Были в нем души пороки.
Гнусной страстью к Антиною
Тлея, в честь ему он строил
Храмы, грады; но всю гнусность
Страсти срамной и пороков
Он прикрыл раченьем к царству,
Путешествием всегдашним
В областях пространных Рима.

Не пустое любопытство
В страны дальны направляло
Его путь, но цель всегдашняя
Путешествий столько дальных
Была польза и блаженство
Градов, областей, народа.
Устремляя взоры быстры
В управление подвластных,
Мститель был законов строгий
В лице всех, дерзнувших даню
Власть свою во зло направить.
Велепные и пышны
Грады, зданья он воздвигнул,
Но не с тягостью народа;
Зане многие налоги
Облегчал и уничтожил.
Хоть достойный сей царь Рима,
Злой болезнью одержимый,

Жизнь свою прервать не могли,
Обратил свою всю лютость
На казнь, может быть ненужну,
Многих, — но ему простили
Всё за то, что себе избрал
Он в преемники на царство
Антонина. Хотя помним
Слово мудра Фаворина,
Состязавшись с Адрианом:
«Нет, кто тридцать легионов, —
Так мудрец друзьям вещает, —
Может двигнуть одним словом,
Ошибаться тот не может».
Но его дни безмятежны
Возрастили Адриана
И учителя во нравах
Строга, мудра Епиктита.
Испытав превратность счастья,
Он всю мудрость заключает
В двух словах: «сноси с терпением,
Будь умерен в наслажденьи».
Словеса много блаженны,
От источника исшедши,
Кажется, излишне строга,
Но соделавшие счастье
Рима, дав ему на царство
Всех владык его изящных.
Кажется, напрягши мышцы
Во изящность, вся природа
Возникла в человеке,
Когда мысль образовала
Столь достойну удивленья

Веков дальних и потомства,
Мысль изящную Зенона.
И хотя б другой заслугой
Мудрование столь чудно
Не имело, — не оно ли
Риму в счастье даровало
Антонина, Марк Аврелья?

Дни блаженные для Рима
Уже паки воссияли.
Се восходит на трон света,
Коего любезно имя
Целый век за честь вмещал
Носить римские владыки,
Мудрец истинный, украшен
Добродетели чертами
И порока ни едина.
Антонин течение жизни
Посвящал народну благу;
Гражданин, не царь во граде,
Се отец благий не титулом,
Сем красились венчанны
И злодеи и юроды,
Но отец он истым делом.
Ах, тот мог ли быть превратен,
Кто несчастьем ужасным
Почитал, когда бы быть мог
Ненавидимым во Риме;
Собственность кто презирая
Расточал свое богатство,
Что наследил, соблюдая
Он сокровища народны?

«Нет, Фавстина, — он вещает, —
Я, владыкою став Рима,
Собственности всей лишился».
Он уснул, и Рим восплакал,
И Антонин мог забвен быть
Тем лишь, избрал что на царство
По себе в Рим Марк Аврелья.
Имя сладостно и славно!
Се премудрость восседает
На престоле цела света,
Но он смертный был. Блаженство
Рима вянет с Марк Аврельем;
И столетия с стремленьем
Протекали за ним уж многи;
Но на поприще обширном,
На ристалище вселенной
Всяка слава и блистанье
Всех царей, владык прешедших
Перед ним суть разве слабый
Блеск светильника, горяща
В полдень ясный в свете солнца;
Перед ним вся лучезарность
Подвигов в сверканьи славы
Суть лишь мрак, и тьма, и тени.
Когда взор наш изумленный
Обращаем на владыку
На всецельного, который
Столь смирен был во порфире,
То во внутренности духа
Мы таинственно веселье
Ощущаем, и не можно
Без сердечна умиленья

Вспомнить жизнь его премудру.
Слеза радости иступит,
Сердце, в радости омывшись,
Вострепещет, утешаясь.
Но... смолчим, в душе сокроем,
Ах, всю скорбь и тяжело чувство,
Что по сладости во сердце,
Вспоминая Марк Аврелья.
Восстает и жмет в нас душу.
Нет, не жди, чтоб мы дерзнули
Начертать его течение.
Всё, что скажем, будет слабо
И сравниться не возможет
С той чертой предвечна света,
Чем его живописала
Всех веков и всех народов
Образ дивный благодарность.
Его жизни описание
Действо то вливает в душу,
Что изящнее возникнут
О себе самих в нас мысли
И равно изящны мысли
О превратном смертных роде.
Но надолго ли? — О участь,
Участь горька рода смертных!
Марк Аврелий уж скончался,
Счастье Рима с ним исчезло.
И благие помышленья
О блаженстве рода смертных.
Се торжественно и тихо,
Спровождаемо всех воплем,
Шествие его ковчины

Отправлялся во Риме;
Но шаг каждый препинаем
Был слезами иль восторгом
Всего римского народа:
«Се наш друг — ах, паче друга,
Се родитель, се кормилец, —
Се отец, — се бог всецедрый. . .»
Скорбно в слухи ударяли
Словеса сии нельстивы
Того, кто вменит за тягость
Все благие помышленья.
И се во броне одеян
Коммод грозно потрясает
Копием, и все умолкло.
Шествие идет в молчаньи.
Ах, тогда уже познали,
Что сокрылося во гробе
Счастье Рима с Марк Аврельем.

КОММЕНТАРИИ

ОТ СОСТАВИТЕЛИ

Стихотворения Радищева при его жизни не печатались. Исключением является ода «Вольность», опубликованная в сокращенном виде в книге «Путешествие из Петербурга в Москву» в 1790 году, и «Сафические строфы», помещенные в журнале «Ипокрена» за 1801 год, часть X. Таким образом, у нас нет авторитетного прижизненного издания стихотворений Радищева. Не сохранились и рукописи стихов. Большинство поэтических сочинений Радищева (за исключением оды «Вольность») было опубликовано его сыновьями в «Собрании оставшихся сочинений покойного А. Н. Радищева» в 1807—1811 годах. Изучение этого собрания приводит к выводу, что многие стихи напечатаны в нем с ошибками, особенно пострадало «Оснадцатое столетие», отчего в ряде строк нарушен размер. Отсутствие рукописей не позволяет восстановить пропущенные строки и полностью исправить все допущенные в издании ошибки. Часть из них исправлена в издании Собрания сочинений Радищева Академии наук СССР (М.—Л., 1938, т. I) по смыслу. Мы приняли их в нашем сборнике. В «Оснадцатом столетии» исправлен лишь стих «Ах, омоченно в крови, век

ты ниспадаешь во гроб». Слово «век» здесь лишнее. Пушкин, цитируя это стихотворение в статье «Александр Радищев», поправил стих, выбросив лишнее слово «век». Мы приняли эту пушкинскую поправку. Остальные дефектные строчки остались. Стих 19 неполон: «Мрачные тени соизади, впереди их солнце». В стихе 62 нарушен размер: «Или погрязнет еще, ах, человечество глубже». Стихи 70 («После тревог воззовет, смертных достойной») и 79 («Гений хравитель всегда Александр будь у нас») неполны.

Особые трудности возникают при публикации оды «Вольность». Рукопись оды не сохранилась. Но зато есть текст, тщательно отредактированный Радищевым и напечатанный в «Путешествии». Правда, ода здесь, как известно, дана с большими сокращениями: из 54 строф полностью напечатано 14, частично — 13, 4 строфы исключены совершенно, остальные заменены точным прозаическим пересказом.

Полный текст сохранился лишь в рукописных списках. Список, принадлежавший сыну Радищева Павлу Александровичу, был в свое время передан им редактору П. Ефремову, когда тот готовил двухтомное собрание сочинений Радищева (издано в 1872 году). Издание было по требованию цензуры уничтожено. Через три десятилетия Ефремов передал сохранившийся у него корректурный оттиск оды «Вольность» С. Тройницкому, который и напечатал оду в 1906 году в типографии «Сирнус». Этот текст оды был перепечатан в последующих радищевских изданиях.

В 1922 году В. Семеников в книге «Новый текст «Путешествия из Петербурга в Москву» опубликовал оду «Вольность» по другому списку — по рукописной книге «Путешествие из Петербурга в Москву», принадлежавшей М. Н. Лонгинову (экземпляр этой книги хранится в Институте русской литературы Академии наук — Пушкинском доме, в Ленинграде). Этот текст оды отличается и от текста издания «Сирнуса», и, главное, от печатного текста «Путешествия». Но именно этот список оды «Вольность» был признан редакцией академического издания сочинений Радищева единственно авторитетным и потому опубликован в I томе собрания сочинений в 1938 году. С тех пор ода «Вольность» перепечатывалась в большинстве случаев с этого, академического издания.

Но как показал анализ этого издания, Лонгиновского и других списков оды, и, самое главное, изучение истории ее создания, — текст «Вольности», признанный ныне каноническим, содержит большое число грубейших ошибок и противоречит тексту, окончательно утвержденному Радищевым.

Лонгиновский список не может быть положен в основу издания оды «Вольность» по следующим трем причинам: а) он содержит огромное количество ошибок (49, обязательно требующих исправления); б) в нем отсутствуют два стиха; в) являясь списком с ранней редакции, он не включает в себя поэтому важнейших поправок, сделанных Радищевым в оде во время подготовки ее к печати в книге «Путешествие».

Редакция академического издания, невзирая на это, положила в основу именно лонгиновский список. Готовя его к публикации, она должна была освободить текст от ошибок, допущенных писцом. Как сказано в примечании, исправления делались «сообразно смыслу и размеру, а где можно — и тексту печатного издания». В действительности исправления делались по печатному тексту и карандашным пометкам лонгиновского списка (неизвестного происхождения), которые сама редакция признает неавторитетными. Исправления эти носили произвольный характер.

Вот несколько примеров.

Строфа 5-я. В лонгиновском списке сказано «Без слуха зрится хладнокровно, велико божество судяй». Слово «хладнокровно» правится на «хладноравно». Основание? Стих приводится в соответствии с печатным текстом. Но в печатном тексте стихи эти выглядят иначе: «Без жалости и хладноравно, глухое божество судяй». Как видим, Радищев поправил три слова; редакция принимает только одно, игнорируя остальные.

Или другой случай. Строфа 12-я. В лонгиновском списке значится:

Что надменное вознесши,
Прияв железный скипетр, царь,
На огромном троне властно севши.

Текст явно и грубо искажен, — появились бессмысленные слова, нарушен размер. Редакция правит

по печатному тексту. Там эти строки выглядят так:

Чело надменное вознесши,
Схватив железный скипетр, царь,
На громном троне властно севши.

«Что» правится на «чело», «огромный» на «громный», но важнейшую поправку Радищева — замену «прияв» на «схватив» — отвергают.

Или еще: в лонгиновском списке в строфе 53 отсутствует десятая строка. Естественным казалось бы при обращении редакции к печатному тексту взять недостающую строку именно оттуда. Но редакция предпочитает воспользоваться строкой, вписанной карандашом в лонгиновском списке неизвестной рукой. Поэтому в оде появилась строка — «Придет во изнеможенье», в то время как у Радищева в печатном тексте сказано иначе: «Развееется в одно мгновенье». Так подлинный текст Радищева игнорируется и принимается вариант, признанный самой редакцией неавторитетным. Подобных примеров множество.

Положив в основу список, изобилующий ошибками, редакция, как говорилось уже, вынуждена была исправлять его. Но и эту работу она не довела до конца. Поэтому в тексте академического издания остались грубейшие ошибки, бессмысленные места. Так, в строфе 24 строка 8 печатается в таком виде: «Не спасшему от бед как мнимых», хотя по другим спискам видно, что слово «как» — это описка писца и его надо заменить словом «нас».

Строфа 17-я; строки 3 и 4 печатаются в соответствии с лонгиновским списком: «Златая жатва чтоб бесслезна была оранию полезна». Жатва, полезная пахоте (оранию), — явная бессмыслица. И действительно, здесь ошибка. В печатном тексте этой строфы нет, но в цензурном экземпляре «Путешествия» (где была и текст оды) мы читаем: «Была о р а т а ю полезна», и т. д.

Итак, текст оды, напечатанный в академическом издании, не может быть признан авторитетным по следующим причинам: 1) он воспроизводит раннюю редакцию оды «Вольность» и игнорирует многочисленные поправки, сделанные Радищевым при подготовке публикации оды в составе «Путешествия»; 2) в основе его лежит дефектный лонгиновский список, изобилующий большим количеством ошибок, которые устранялись редакцией произвольно; 3) дефектность лонгиновского списка обусловила сохранение и в публикации академического издания ошибок даже после проведенной редакторской работы; 4) не может он удовлетворить и потому, что игнорирует последнюю волю Радищева, пожелавшего исключить из состава оды 4 строфы. Но об этом ниже.

Какой же текст оды должен быть положен за основу? Изучение имеющихся списков позволило установить некоторые основные моменты творческой истории оды. Лонгиновский список сохранил нам одну из самых ранних редакций, относящихся к 1783 году. В 1789 году Радищев закончил работу над «Путешествием». В состав книги он решил включить оду «Вольность». В начале 1789

года подготовленный экземпляр книги, вместе с одой, был передан в цензуру. Но получив в июне того же года свою рукопись с цензурным разрешением, Радищев стал переделывать книгу — изменил ее композицию, исключил отдельные главы, вписал новые главы, дописал отдельные сцены и т. д. Подверглась переделке и ода «Вольность». На первой стадии переработка ограничивалась стилистической поправкой отдельных строк. Вот именно с этого экземпляра (с поправками Радищева) и был сделан список оды, оказавшийся в руках сына Радищева Павла Александровича. Убеждает в этом сравнение данного списка с текстом, опубликованным в «Путешествии», и цензурного экземпляра.

Но во время подготовки книги к печати Радищев еще раз вернулся к оде «Вольность» и произвел новые, кардинальные, на этот раз композиционные изменения. Эти изменения свелись к следующему: 1) Радищев отказался печатать оду целиком. Выбрав центральный мотив — форт народного протеста против действий царя — преступника и злодея, восстание, суд народа над царем и «приращение» будущей революции в России, Радищев строфы, развивавшие этот мотив, напечатал, остальные — пересказал. 2) Из оды Радищев исключил 4 строфы, исключил, несомненно, по идейным мотивам. Тем самым в окончательной редакции, по мысли Радищева, ода должна была иметь не 54, а 50 строф. Выброшенными строфами оказались — 9, 24 и две из числа — 26—38, подвергшихся пересказу.

9 и 24 строфы развивают религиозные мотивы. В них, несомненно, проявилось влияние теизма — признание бога как разумного существа, сотворившего мир и непрерывно вмешивающегося в повседневную жизнь людей («Весельный боже, благ податель, естественных ты благ создатель, закон свой в сердце основал» и т. д. — в 9-й строфе; в 24-й строфе — бог отказывается мстить «своей обиде», он не спасает людей от бед, и т. д.).

Во второй половине 80-х годов, когда писалось «Путешествие», Радищев преодолел эти теистические взгляды, решительно встав на позиции деизма. Вот почему, готовя к изданию оду, Радищев исключил из нее строфы, в которых излагались взгляды, им уже изжитые.

Исключение именно этих строф доказывается печатным текстом оды в ее новой композиции. Труднее установить, какие две другие строфы исключил Радищев, ибо они оказываются в составе 12 опущенных и лишь пересказанных строф. Но установить это можно. Прежде всего следует отметить на примере 9-й и 24-й строф, что, решив их исключить, Радищев изменил нумерацию дальнейших строф и, естественно, отказался от их пересказа. С другой стороны, те строфы, которые он не включил в состав книги «Путешествие», но оставил в оде, он пересказывал, и пересказывал довольно точно. За всеми пересказанными строфами сохранялась их новая нумерация. Факт тщательной нумерации строф, даже пересказываемых, — свидетельство заботы Радищева о точном воспроизведе-

дении перед читателем новой композиции оды — в составе 50 строф.

Какие же две строфы выбросил еще Радищев? Займемся прежде всего новой радищевской нумерацией строф. Исключение двух строф повлекло изменение дальнейшего счета на 2. Поэтому после исключения 24-й строфы (полного текста) Радищев следующую, 25-ю строфу обозначает цифрой 23. Строфы 24—33 новой нумерации он пересказывает: «В следующих 11 строфах заключается описание царства свободы» и т. д. После пересказа следует строфа 34-я, частично процитированная, частично данная в прозаическом изложении. Эта 34-я строфа новой нумерации совпадает с 38-й — старой, полной. Как видим, разрыв между старым и новым количеством строф достиг уже четырех. Следовательно, именно здесь были выпущены две строфы. Действительно, всего Радищевым в этом случае опущено 12 строф (38 минус 26), а подверглось пересказу 10, что и подчеркнул Радищев своей новой нумерацией: 24—33. Казалось бы, дело ясное. Но в приведенном выше прозаическом тексте сказано, что он пересказал 11 строф. Откуда эта цифра? Может быть, это ошибка? Нет, у этой цифры иное происхождение. Лонгиновский список позволяет установить данное недоразумение. Дело в том, что сначала Радищев думал пересказ начать не с 24-й, а с 23-й строфы (новой нумерации), и сделал так. Вот почему в лонгиновском списке этот прозаический текст в качестве примечания дан перед строфой 25-й (23-й — новой нумерации). В корректуре

Радищев вновь пересмотрел эту композицию и решил первую строфу цикла, рассказывающего «о царстве свободы», частично процитировать (дано 7 из 10 стихов). Значит, текст пересказываемых строф сократился до 10. Это и нашло свое отражение в нумерации — 24—33, т. е. ровно 10. Но в ранее написанном прозаическом пересказе осталась непоправленная цифра 11.

Установив факт исключения новых двух строф, следует определить их и установить, какие из общего числа 12 опущенных строф подверглись пересказу. Руководствоваться можно только текстом прозаического пересказа. В нем же говорится, что оставшиеся строфы посвящены описанию «царства свободы и действия ее, т. е. сохранность, спокойствие, благоденствие, величие». Строфами, в которых рассказывается о царстве свободы и действиях ее, являются: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 старой нумерации. Строфы же 26 и 27, входившие ранее сюда, повествуют совершенно о другом, — в них говорится о Лютере, возглавившем церковную реформу (26), о творящей силе бога (27 — «Как сый всегда в начале века» и т. д.). Несомненно, что исключение этих новых двух строф произведено по тем же идейным мотивам, по каким были исключены 9-я и 24-я. Сняв эти строфы, Радищев отказался от мысли считать бога причастным к действиям людей, завоевывающих свободу. Вот почему после 23-й строфы, процитированной в книге, где говорится — «Велик, велик ты, дух свободы, зиждителен, как сам есть бог», шла строфа 24-я (28-я старой ну-

мерации), в которой конкретизировалась эта мысль: зиждительная сила духа свободы определила величайшее научное открытие Галилея, открытие Колумбом Америки и т. д. В следующей, 25-й строфе (29) с еще большей силой раскрывалась мысль об огромном значении для человека «духа свободы». Поэт писал там, что «к величию он всех зовет», что он «живит, родит и создает», и т. д. Как видим, идея зиждительности духа свободы поэтом развита, идея вмешательства бога в дела людей снята совершенно.

Итак, в нашем распоряжении имеются:

а) лонгиновский список, передающий раннюю редакцию оды, дефектный из-за обилия ошибок и отсутствия двух стихов, игнорирующий стилистическую правку Радищева, проведенную перед подготовкой оды к печати, сохраняющую в своем составе 4 строфы, исключенные Радищевым из последней редакции по идейным мотивам;

б) список сына, П. А. Радищева (дошедший до нас в тексте печатного издания «Сириус»); в нем незначительное число ошибок, в нем нет пропусков стихов, и, самое главное, он воспроизводит текст, содержащий почти всю стилистическую правку Радищева, произведенную им накануне печатания оды. Но количество строф тоже 54;

в) текст оды в составе «Путешествия». Это последняя, наиболее авторитетная редакция оды. Главное отличие этого текста от лонгиновского списка и списка сына Радищева — исключение из общего состава 4 строф. Без сомнения, последняя редакция оды «Вольность», сложившаяся во время

подготовки ее к печати в составе «Путешествия из Петербурга в Москву», должна служить для нас основанием для публикации оды. Именно на этой стадии работы Радищев решил главный вопрос об исключении из оды по идейным мотивам 4 строф. Именно этим объясняется тот факт, что, опустив ряд строф при публикации в «Путешествии» по соображениям композиции книги, он их пересказал, тщательно и педантично осуществив ковую нумерацию. Это последнее обстоятельство ясно свидетельствует, что Радищев собирался публиковать оду полностью, но в составе 50 строф.

Итак, мы обязаны руководствоваться текстом оды, включенной в «Путешествие». Это текст последней авторской редакции. Он и положен нами в основу. Но потому, что ряд строф в этой радищевской публикации оказались опущенными, мы должны восполнить недостающие стихи по тому списку, который ближе всего к последней редакции. Им является, как уже говорилось выше, список сына поэта, Павла Александровича Радищева (текст издания «Сириуса»). Но механически перепечатывать недостающие строки из этого издания нельзя. В нем есть явные опечатки и ошибочные чтения рукописи, правда, общее число которых очень незначительно (менее десяти). Для устранения этих ошибок следует обращаться прежде всего к лонгиновскому списку, а также к прозаическому радищевскому пересказу опущенных строф, который он включил в «Путешествие». Этот прозаический текст, как правило, очень близок опущенному поэтическому.

Вот принятые нами поправки.

Строфа 8, стр. 6. В издании «Сириуса» напечатано — «И дав им броню заблужденья». В прозаическом пересказе читаем: «Изображение священного суеверия, отъемлющего у человека чувствительность, влекущее его в ярем порабощения, во броню его облекшее». В лонгиновском списке эта строфа передана так: «Облек их в броню заблужденья». Ясно, что в издании «Сириуса» эта строка искажена и должна быть исправлена по лонгиновскому списку.

Строфа 25, стр. 8. В издании «Сириуса» напечатано «Нетрепетно в нем разум мыслит». Смысл строфы противоречит такому чтению. Радищев рассказывает, как дух свободы зовет к величию, «живит, родит и созидает». Именно поэтому с торжеством «духа свободы» разум начинает мыслить «нетрепетно». В лонгиновском списке и сохранилось неиспорченное слово — с ним вместо в нем. Эта поправка включена в текст.

Строфа 35, стр. 6. В издании «Сириуса» напечатано: «Иль жизнь иль мзду испосылая». Слово «жизнь» появилось в результате ошибочного чтения. Лонгиновский список подтверждает это. Там читаем: «Иль казнь иль мзду испосылая, се меч, се злато избрай». Как видим, вторая строка парная, она подтверждает и контрастирует с первой, так как сохраняет противопоставление: казнь — мзда и меч — злато. В наш текст мы внесли поправку, и слово «жизнь» заменено словом «казнь».

Строфа 39, стр. 1. В издании «Сириуса»

напечатано: «Дойдешь до дести совершенства». В этой строке две опечатки. Вместо «совершенство» (рифмующегося с «блаженство») напечатано «совершенства». У Радищева всегда рифмы точные. Слово «дести» также появилось в результате опечатки, обесмысливающей текст. Лонгиновский список дает правильное чтение: «Дойдешь до меты совершенство». Мы исправили эту строфу.

Строфа 40, стр. 4. В издании «Сириуса» напечатано: «Не косвенно стремглав беж и м». Первое слово испорчено. Лонгиновский список дает правильное чтение — «Некосвенно».

ПРИМЕЧАНИЯ

Вольность. Ода писалась в годы 1781—1783. Впервые с сокращениями опубликована в книге Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» в 1790 году. Полностью ода могла быть напечатана только после революции 1905 года, когда она вышла отдельной брошюрой в 1906 году в издательстве «Сириус».

Строфа 1. *Брут* Марк Юний (72?—42 до н. э.) — вдохновитель заговора против Юлия Цезаря. Представитель римской аристократии. В XVIII веке цареубийца Брут расценивался как идеальный республиканец. *Телль* Вильгельм — герой швейцарских народных сказаний об эпохе борьбы за освобождение Швейцарии от австрийского господства. *Седяй* — сидя, сидящие.

Строфа 2. В «Путешествии из Петербурга в Москву» Радищев так комментировал эту строфу: «Вот ее содержание: человек во всем от рождения свободен». *Стопы несут* — иду.

Строфа 3. *Соборный* — общий.

Строфа 4. *Крич* — лилия. *Олива* — символ мира.

Строфа 5. В «Путешествии» сказано: «Изображается закон в виде божества во храме, коего стражи суть истина и правосудие». Десную (одесную) — справа. Ошую — слева.

Строфа 6. Тля — прах, тление.

Строфа 7. *И се чудовище ужасно.* — Речь идет о церкви, религиозном фанатизме и суеверии.

Строфа 8. В «Путешествии» была пересказана следующим образом: «Изображение священного суеверия, отъемлющего у человека чувствительность, влекущее его в ярем порабощения и заблуждения, во броню его облекшее:

Бояться истины велел...

Власть называет оное изветом божества; рассудок — обманом».

Строфа 10. Строки 5—10 Радищев так комментировал: «И все злые следствия рабства, как то: беспечность, леность, коварство, голод и пр.»

Строфа 16. Радищев так пересказал эту строфу в «Путешествии»:

«Покрыв я море кораблями...

Дал способ к приобретению богатств и благоденствий. Желал я, чтобы земледелец не был пленник на своей ниве и тебя бы благословяла...»

Строфа 17. *Медны... громады* — пушки.

Строфа 18. *Возмнил, что ты господь — не я.* — В данном случае господь означает господин.

Строфа 20. *В отличность знак избретенный* — знаки орденов, учрежденные для награждения за заслуги.

Строфа 22. *Кромвель* Оливер (1599—1658) — лорд-протектор Англии, диктатор эпохи английской буржуазной революции, казнивший короля Карла I.

Строфа 24. *Летит Колумб чрез поле влажно.* — Имеется в виду открытие Америки Христофором Колумбом (1446?—1506). *Но чудо Галилей творить возмог.* — Речь идет о самоотверженной защите знаменитым итальянским ученым Галилеем (1564—1642) учения Коперника о движении земли вокруг солнца.

Строфа 30. *Вашингтон* Джордж (1732—1799) — американский буржуазный государственный деятель периода войны за независимость против английского владычества (1776—1783), командовал армией колонистов, которая в 1783 году одержала окончательную победу над английскими войсками, завоевав независимость 13 колониям.

Строфа 31. *Двулична бога храм закрылся.* — Двуличный бог — древнегреческое божество Янус, изображавшийся с двумя лицами; храм, построенный в его честь, закрытый в мирное время, открывался лишь в войну.

Строфа 33. *Пиндар* (522—448 до н. э.) — прославленный древнегреческий поэт-лирик. *Носим Невтоновой главой.* — Речь идет о великом английском физике и математике Исааке Ньютоне (1642—1727).

Строфа 34. Напечатана была Радищевым в «Путешествии» в следующем виде:

«Но страсти, изощряя злобу...

превращают спокойствие граждан в пагубу...

Отца на сына воздвигают,
Союзы брачны раздирают,

и все следствия безмерного желанья властвовать...»

Строфы 35, 36, 37 подверглись в «Путешествии» пересказу: «Описание пагубных следствий роскоши. Междоусобий. Гражданская брань. Марий, Сулла, Август...»

Тревожну вольность усыпил.

Чугунный скиптр обвил цветами...

Следствие того — порабощение...»

Строфа 36. Так Марий, Сулла, возмугивши. — Марий Гай (157—86 до н. э.) — римский полководец и политический деятель, пытавшийся стать диктатором Рима. Сулла Луций Корнелий (138—78 до н. э.) — диктатор в древнем Риме.

Строфа 37. Август Гай Юлий Цезарь Октавиан (63 до н. э. — 10 н. э.) — первый римский император.

Строфы 38—39. Радищев так прокомментировал их: «Таков есть закон природы: из мучительства рождается вольность, из вольности рабство...»

Строфа 40. В «Путешествии» был дан не пересказ ее, а скорее примечание к ней: «На что сему

дивиться? И человек рождается на то, чтобы умереть...»

Строфа 41. Радищев имеет в виду победу американского народа в войне против «разбойников англичан» (Ленин, изд. 4, т. 28, стр. 44).

Строфы 41—48 подверглись в «Путешествии» пересказу: «Следующие 8 строф содержат прорицания о будущем жребии отечества, которое разделится на части, и тем скорее, чем будет страннее. Но время еще не пришло. Когда же оно наступит, тогда

Встрещат заклены тяжкой ночи.

Упругая власть при издыхании приставит стражу к слову и соберет все свои силы, дабы последним махом раздавить возникающую вольность...»

Строфа 42 представляет собой вольный пересказ послания европейски известного просветителя Франции Рейналя американскому народу. Рейналь писал в своей книге «Révolution de l'Amérique»: «Героическая страна, мой преклонный возраст не позволяет мне посетить тебя. Никогда я не увижу себя среди почетных лиц твоего ареопага, никогда не буду присутствовать на совещании твоего конгресса. Я умру, не увидев обиталища веротерпимости, нравственности, законности, добродетели, свободы. Свободная и священная земля не сокровит моего праха, но я бы этого желал». Переложение Рейналевых слов в стих объясняет следующая, 43-я строфа, где пассивному, созерца-

тельному отношению французского просветителя, желающего умереть в стране, где уже завоевана свобода, Радищев противопоставляет свое мужественное решение остаться у себя на родине с тем, чтобы завоевать свободу для своего народа, с тем, чтобы стать «прорицателем вольности». Характерно также, что Радищев не разделяет восторженности Рейналя по отношению к Америке.

Строфа 43. *Да юноша, взалкавший славы* — возжелавший, возжаждавший славы.

Строфа 49 подверглась в «Путешествии» наиболее подробному пересказу: «Но человечество возревет в оковах и, направляемое надеждою свободы и неистребимым природы правом, двинется... И власть приведена будет в трепет. Тогда всех сил сложение, тогда тяжелая власть

Развеется в одно мгновенье.

О день, избранивший всех дней!»

На небо смертность воззовет — смертность в данном случае — человечество.

Строфа 50, завершавшая оду, была напечатана в «Путешествии» в следующем виде:

«Мне слышится уж глас природы.

Начальный глас, глас божества.

«Мрачная твердь позабылась, и вольность воссияла».

Эпитафия. Стихотворение посвящено памяти жены — Анны Васильевны Радищевой, урожденной

Рубановской, умершей 3 августа 1783 года. Радищев хотел поставить на месте ее погребения в Александро-Невской лавре памятник с этой эпитафией. Власти запретили, так как в надписи усмотрели неверие в бессмертие души. Тогда Радищев поставил памятник с эпитафией в саду собственного дома на Грязной улице (ныне улица Марата).

«Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду?» Стихотворение написано по пути в илимскую ссылку, возможно, в Тобольске (декабрь 1790 — июль 1791 года). Впервые напечатано П. А. Ефремовым в 1864 году в примечаниях к журналу Новикова «Живописец» с рукописного сборника 1792 года, где оно было помещено под заглавием: «Ответ г-на Радищева во время проезда его через Тобольск любознательствующему узнать о нем».

«Почто, мой друг, почто слеза из глаз катится...» Написано в пору сибирской ссылки. Впервые напечатано его сыновьями в первом томе Собрания сочинений в 1807 году.

«Час преблаженный...» Указом Павла I от 23 ноября 1796 года Радищев был освобожден из Илимска и переведен в Немцово (Калужская губерния) под полицейский надзор. Известие об освобождении Радищев получил в начале 1797 года. Стихотворение выражает чувства и настроение Радищева по окончании илимской ссылки.

Впервые напечатано в 1858 году сыном Радищева Павлом Александровичем в статье «А. Н. Радищев», помещенной в «Русском вестнике» (т. XVIII, декабрь, кн. 1).¹

Журавли. Стихотворение написано после возвращения из Сибири. Впервые опубликовано в первом томе Собрания сочинений в 1807 году. *На он-пол* — на ту сторону, на другой берег.

Оснадцатое столетие. Написано стихотворение в 1801 году, впервые напечатано в первом томе Собрания сочинений в 1807 году.

Строки 31—48 повествуют о величайших достижениях науки XVIII века в различных областях: философии, политической мысли, астрономии, географии, промышленности и т. д. Радищев перечисляет наиболее крупные изобретения и открытия: развитие учения о спектре, создание карты звездного неба, постройку первой паровой машины, появление громоотвода, опыты с воздушным шаром и т. д.

Сафические строфы. Написано, повидимому, в период после илимской ссылки, впервые напечатано при жизни автора в 1801 году в журнале «Ипокрена».

Песня. Год написания неизвестен, впервые напечатан в первом томе Собрания сочинений в 1807 году, где была пропущена одна стихотворная строка. В 1872 году П. Ефремов приготовил из-

дание сочинений Радищева в двух томах, которое было уничтожено по решению властей. Уцелело лишь 15 экземпляров. Ефремов перепечатал песню, вставив недостававший стих — «Ее не позабуду». Источника, откуда взята эта строка, Ефремов не указал.

Ода к другу моему. Год написания неизвестен, вероятнее всего — по возвращении из ссылки. Впервые напечатана в первом томе Собрания сочинений в 1807 году.

Бова. Поэма написана по возвращении из сибирской ссылки (примерно 1799—1801). Состояла она из 12 песен. При публикации ее в 1807 году сыновья издатели обнаружили в бумагах своего отца лишь вступление и первую песнь. Зная содержание всей поэмы, они приложили «План богатырской повести Бовы», сопроводив его следующим «известием»: «Одиннадцать песней Бовы были уже написаны, двенадцатая и последняя начата, но по смерти сочинителя нашлася только первая песнь, изготовленная к тиснению. Может быть, причтут нам в пристрастие, но, кажется, потеря забавной сей поэмы достойна сожаления. В первой песни найдутся негладкости, но сколько заменены они легкою, приятною, веселостию, чувствительностию, сколько картин приятных и как занимательно начало сей поэмы. — Мы читали все одиннадцать песней и скажем, что все были не хуже первой, а некоторые далеко ее превосходили. Чтобы дать читателям понятие

о всей поэме, прилагаем план оной, хотя в первой песни и сделаны против него некоторые перемены».

Вступление. Эпиграф — перевод с итальянского: «О, какой случай, какое приключение». *Есть удел детей Адамлих — т. е. людей, детей Адама. Для того, кто в гости ездил во страны пустынные, дальны. . .* — В этих и дальнейших стихах Радищев рассказывает о своей сибирской ссылке. *Жанлис Стефания* (1746—1830) — второстепенная французская писательница, автор эпигонски-сентиментальных романов. *Тиверий* (Тиберий) и *Клавдий* — римские императоры. *Понт Черный* — Черное море. *Царство Мифридата* — Митридат VI, царь Понтийский (II—I века до н. э.). *Где Тигран царил в Арменъи* — Тигран II, царь Армении (I век до н. э.). *Ясон и Медея* — герои древнегреческого мифа. *Таврида* — Крым. *Последний из Гиреев*. — Шагин Гирей — последний крымский хан, свергнутый в 1783 году во время присоединения Крыма к России. *Вслед пойдет творцу Тавриды. . .* — Радищев говорит о Боброве, авторе поэмы «Таврида», написанной белыми стихами. *На Жанету, девку храбру, что воспел ты. . .* — Так называет Радищев Жанну д'Арк, героиню сатирической поэмы Вольтера «Орлеанская девственница». *Вознеслся б в Пантеоне*. — Решением Национального собрания 1791 года Пантеон в Париже был сделан усыпальницей деятелей республики и борцов за свободу. В Пантеоне выставлялись скульптуры похороненных деятелей. *Во Болгарах*

сплоя песню. . . — В X—XIV веках на Волге было расположено государство болгар. . . *где оставил души нежной половину*. — Радищев рассказывает о смерти в Тобольске своей второй жены, Елизаветы Васильевны Рубановской. *Ермак Тимофеевич* — знатный русский землепроходец, во главе отряда казаков разгромил войско Кучума и присоединил Сибирь к Русскому государству. Утонул в Иртыше в 1584 году. *Ворисфен* — Борисфен, древнее название Днепра. *Нестор* — известный писатель древней Руси. *Назон Публий Овидий* (43 г. до н. э. — 17 н. э.) — римский поэт. Был сослан в 9 г. н. э. императором Августом в город Томы на берегу Черного моря, где и умер в одиночестве. Радищев ошибается, когда в соответствии с мнением, господствовавшим в XVIII веке, помещает могилу Назона на берегу Дуная. *Бишинг* — Бюшинг — немецкий ученый географ, некоторое время живший в России. Его сочинение «Землеописание, или всеобщая география» вышло отдельными частями в русском переводе с 1766 по 1778 годы. Это сочинение имело широкое распространение в России, к нему обращались как к географическому справочнику. Вот отчего Радищев свободно отсылает читателя к известному автору — «Бишингу».

Песнь первая. Рафаэль (1483—1520) — крупнейший итальянский художник эпохи Возрождения. Обстоятельства кончины Рафаэля, сообщаемые Радищевым, почерпнуты им из популярного в XVIII веке предания о смерти художника. *Как яр*

Позвизд с Чернобогом... — Имена богов — по условной русской мифологии, составленной писателями XVIII века (подробнее см. примечания к «Песням, петым на состязаниях»). *Арей* — в греческой мифологии бог войны. *Если витязь Роберт славный...* — Здесь и в следующих стихах рассказывается об эпизоде, в котором Бова попадает в ситуацию, схожую с историей, рассказанной Вольтером в сказке «То, что нравится женщинам», героем которой является Роберт. *Тут Бова, собрав все силы...* — Радищев пародирует начало второй песни «Энеиды» Вергилия, где Эней жалуется Дидоне, приступая к печальному рассказу о гибели Трои. *Скиптр не мог никак достаться в руки, праслицей что правят...* — Сатирический выпад на историю русского самодержавия XVIII века, когда после смерти Петра I трон пять раз переходил в руки женщин. *И такими лишь шарами* — т. е. красками. *Парацельс* (1493—1541) — швейцарский врач и алхимик. *Авиценна* (980—1037) — выдающийся таджикский философ, ученый, медик и писатель. *Бехер* (1635—1682) — немецкий химик. *Альберты*. — Повидимому, Радищев имеет в виду ученого XIII века Альберта Великого и немецкого медика XVI века Альберта. *Чудесный подвиг Алкида*. — Речь идет о подвигах мифологического героя Геракла. *Далай-лама* — верховный правитель и владыка Тибета. В резких сатирических тонах Радищев рассказывает о священном культе Далай-ламы — о перерождении ламы, об унизительном и позорном благоговении к нему его последователей и приверженцев. Этому, в частности,

посвящены стихи о том, как Далай-лама в знак «щедрот небесных» рассылает «но на закуску для десерта в день торжествен свских сладких яств остатки, что в священных его недрах благодатная природа в млеко жизни претворила». М. П. Алексеев установил, что эти сведения о ламаистском культе Радищев мог почерпнуть из сочинения «Описание Тибетского государства, сообщенное в письме г. Жона Стурта к Жону Приггаю», напечатанном в переводе П. Богдановича в «С.-Петербургском вестнике» за 1799 год, часть III. В этом сочинении сказано: «Сказывают, что многие татарские владельцы получают от него (Далай-ламы) некоторые подарки, состоящие в маленьких катышках из самой презрительнейшей в природе человеческой вещи, которые они хранят с великим благоговением в золотых ковчегах и примешивают иногда в свои кушанья для здравия» (М. П. Алексеев. К истолкованию поэмы А. Н. Радищева «Бова». В сборн. «Радищев. Статьи и материалы». Л., 1950). *Брант* и *Кункель* — алхимики XVII века. *Светоносный луч*. — Речь идет об открытии Брантом во время алхимических опытов в 1669 году фосфора. Кункель через несколько лет, не зная об опыте Бранта, вторично открыл фосфор. «Светоносным» он называется потому, что в переводе с греческого фосфор означает светоносец.

Песни, петые на состязаниях. Поэма не закончена, до нас дошли первая ее часть и прозаическое введение к ней. Видимо, поэма должна была состоять из отдельных песнопений, принад-

лежащих десяти состязующимся певцам. Поэма написана под влиянием опубликованного в 1800 году «Слова о полку Игореве», откуда взят и эпитафия. Есть основания предполагать, что поэма писалась в последний год жизни Радищева. Смерть оборвала работу. Впервые напечатана в 1807 году в первом томе Собрания сочинений.

В «Песнях», воссоздающих эпоху древней Руси, Радищев использует имена богов славянской мифологии, сочиненной русскими писателями XVIII века, Михаилом Поповым прежде всего. Вот сокращенное объяснение этих имен по Михаилу Попову: *Перун* — «начальнейший славенский бог. Почитали его производителем всех воздушных явлений и действ, как то: грома, молнии, облаков, дождя и прочего...» *Световид* — «бог солнца и войны». *Велес* — «славенский бог, начальствующий над скотами, по Перуне первый». *Позвизд* — «славенский Эол, которого древние признавали богом бурных ветров, а у киевлян почитался он богом воздуха, ведра и ненастья». *Ний* [у Попова — Ния] — «признавался... подземным богом, коего степень занимал у греков и римлян Плутон, адский царь». *Чернобог*. — «Некоторые варяжские славяне признавали его злым божеством и приносили ему жертву кровавую и печальное моление, а также страшные заклятия». *Лада* — «богиня киевская, подобящаяся во всем Венере. Славяне признавали ее богиней браков и веселия любовного». *Леля, Лилио* (или *Лель*) — «сын Ладии, нежный божок воспаления любовного». *Полель* — «славенский Именей, сын Ладии», т. е. бог брака.

Дажьбог — «божество славенское, почитавшееся в Киеве... По догадке, имя его означает одного богом подателем благ, от коего молебники ожидали себе счастья; почему, кажется, можно его почесть богом богатств». *Зиц* — «священный неугаемый огонь. По многим городам имели славяне его храмы, жертвовали ему частью из полученных у неприятеля корыстей и пленными христианами». *Купало* — «киевский бог плодов, второй по Перуне». *Зимцерла* — «славенская богиня. Какие приписывались ей качества, о том ничего не известно; разве испорченное ее название произвело от имени зима и глагола стерть, так называется она Зимстерлоу и будет походить на богиню весны и лета либо на Флору, богиню цветов».

Песнь историческая. Неоконченная поэма; писалась в последний период жизни Радищева. Впервые напечатана в первом томе Собрания сочинений в 1807 году. *Навуходонсор* (605—562 годы до н. э.) — вавилонский царь; разгромил в 586 году иудейское царство. *Конфуций* (Кун-Фу-цзы, 551—479 годы до н. э.) — китайский философ, идеалист, основатель государственной религии старого Китая «жуцзяо» («религии ученых»). *Зороастр* (Заратустра) — основатель религии древних мидийцев и бактрийцев, затем персов, жил в IX веке до н. э. *Кир старший* — персидский царь (559—530 годы до н. э.); своими завоеваниями положил начало древнеперсидскому царству Ахеменидов. *Солон* (VI век до н. э.) — афинский законодатель, преобразовавший государ-

ственное устройство Афин в 594 году до н. э. *Пизистрат* (600?—527 годы до н. э.) — афинский тиран. Его правление, не имевшее конституционного основания, афиняне называли тиранией. *Ликург* — легендарный спартанский законодатель; предполагают, что он жил в XI веке до н. э. Ему приписывали учреждение всего политического и экономического строя рабовладельческой Спарты, хотя на самом деле он произвел только передел имущества. В конце XVIII века Ликурга считали величайшим государственным деятелем. *Фемистокл* (525—461? годы до н. э.) — афинский полководец и политический деятель эпохи греко-персидских войн. *Перикл* (500?—429 годы до н. э.) — знаменитый политический деятель Афин. *Фидий* (490?—450 годы до н. э.) — гениальный древнегреческий скульптор. *Сократ* (469—399 годы до н. э.) — греческий философ-идеалист. *Анаксагор* (ок. 500—428 годов до н. э.) — выдающийся древнегреческий ученый и философ-материалист. *Алкивиад* (451—404 годы до н. э.) — афинский государственный деятель эпохи Пелопоннесской войны, способный полководец и ловкий дипломат, запятнавший свое имя предательством. *Филипп* (379—336 годы до н. э.) — македонский царь, отец Александра Македонского. *Демосфен* (384—322 годы до н. э.) — знаменитый афинский оратор-патриот. *Александр* (356—323 годы до н. э.) — македонский царь, прославился своими завоевательными походами в Египет, Персию и Индию. *Коклес Гораций Публий* — легендарный римлянин, который спас Рим в войне

с этрусками, защищая мост через Тибр. *Курций Марк* — легендарный римский юноша, о котором Тит Ливий и Дион Кассий рассказывают следующее предание: на римском форуме в 362 году до н. э. появилась бедаонная трещина; по предсказанию оракула, Риму грозил величайший бедствия, если пропасть не будет заполнена лучшим благом города. Со словами: «Нет лучшего блага в Риме, чем оружие и храбрость» — Курций в полном вооружении на коне бросился в пропасть, и она сомкнулась. *Сцевола Муций* — по древнеримскому преданию, юноша, сжегший правую руку в знак презрения к пыткам, угрожавшим ему за покушение на жизнь этрусского короля, осаждавшего Рим. *Цинцинат Луций Квинций* (V век до н. э.) — римский политический деятель. *Ганнибал* (247—189 годы до н. э.) — карфагенский полководец и государственный деятель. *Сципион Публий Корнелий Африканский* (III—II века до н. э.) — знаменитый римский полководец. *Грахи* (Гракхи) — братья Тиберий (163—133 годы до н. э.) и Кай (153—121 годы до н. э.) — знаменитые политические деятели Рима эпохи Республики, защитники мелкого и среднего землевладения. Социально-политические реформы Гракхов и борьба вокруг них были важнейшими событиями в истории республиканского Рима. *Катилина Луций Сергий* (109—62 годы до н. э.) — глава военного заговора, направленного против римского сената. К заговору патриция Катилины примкнули деклассированные низы древнего Рима. *Цицерон Марк Тулий* (106—43 годы до н. э.) — римский

политический деятель, писатель и философ. Катон Марк Порций, называемый Младшим или Утичским (95—46 годы до н. э.), — непреклонный сторонник римской рабовладельческой республики. Катон заколол себя мечом, когда узнал о победе Цезаря над республиканским войском под Тапсом и Утикой в 46 году. В XVIII веке Катона считали идеальным республиканцем. Сенека Луций Анней, по прозвищу Ритор (I век н. э.), — римский писатель, автор руководства по риторике и сочинения по римской истории.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ АЛЕКСАНДРА РАДИЩЕВА

А. Н. Радищев. Полное собрание сочинений. Издательство Академии наук СССР, 1938—1952, т. I—III. Стихи собраны в одном томе.

А. Н. Радищев. Избранные сочинения. Вступительная статья и редакция Г. Макогоненко. ГИХЛ, 1952.

А. Н. Радищев. Избранные философские и общественно-политические произведения. Вступительная статья и редакция И. Я. Ципанова. Госполитиздат, 1952.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия Александра Радищева. Вступительная
статья Г. Макогоненко 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

Вольность	77
<Строфы оды «Вольность», снятые Радище- вым в окончательной редакции>	98
Эпитафия	100
«Ты хочешь знать: кто я? что я? куда я еду?»	101
«— Почто, мой друг, почто слеза из глаз катится...»	102
«Час преблаженный...»	105
Журавли	106
Оснадцатое столетие	108
Сафические строфы	112
Песня	113
Ода к другу моему	116

ПОЭМЫ

Бова	123
Песни, петье на состязаниях в честь древним славянским божествам	165
Песнь историческая	190

КОММЕНТАРИИ

От составителя	253
Примечания	267
Основные издания сочинений Александра Ра- дищева	285

Редакционная коллегия:

*В. Г. Базанов, А. Г. Дементьев, В. П. Друзин,
А. М. Еюлин, В. Н. Орлов, А. А. Прокофьев,
В. М. Саянов, А. К. Тарасенков,
А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов,
С. П. Щипачев*

Редактор Д. Лихачев

Художник Л. Хижинский

Техн. редактор С. Брусиловская

Корректор Э. Петрова

*М 41651. Подписано к печати 19/IX 1953 г. Формат бумаж-
маги 84×108/16—2,25 бум. л.—7,38 печ. л. Авт. л. 10,30.
Уч.-изд. л. 10,69. Тираж 50 000. Зак. № 755. Цена 6 р. 45 к.
(по прейскуранту 1952 г.)*

Типография № 3 Ленгортотипографиздата